К. Г. ЛЕВЫКИН

Памятью сердца в минувшее...

Константин Григорьевич Левыкин

Памятью сердца в минувшее…

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9802239
Памятью сердца в минувшее…: Знак; Москва; 2004
ISBN 5-9551-0012-1

Аннотация

В предлагаемой читателю книге автор продолжает свою повесть воспоминаниями о том, как он стал москвичом, как непросто приходилось его родителям устраиваться в новой московской жизни покинув родной дом в деревне в конце двадцатых годов. Она начиналась по временной прописке в Протопоповском переулке и на Третьей Мещанской улице, в квартирах коренных московских обывателей, а продолжилась вплоть до начала Великой Отечественной войны в фабричном общежитии на Закрестовской окраине Москвы. Здесь в тридцатые годы в барачных городках общежитий расселилась молодежь, по обшей исторической судьбе и одинаковым причинам покинувшая свои родные гнезда – деревни, села, городки, и сменившая родительские дома на казенное неблагоустроенное житье.

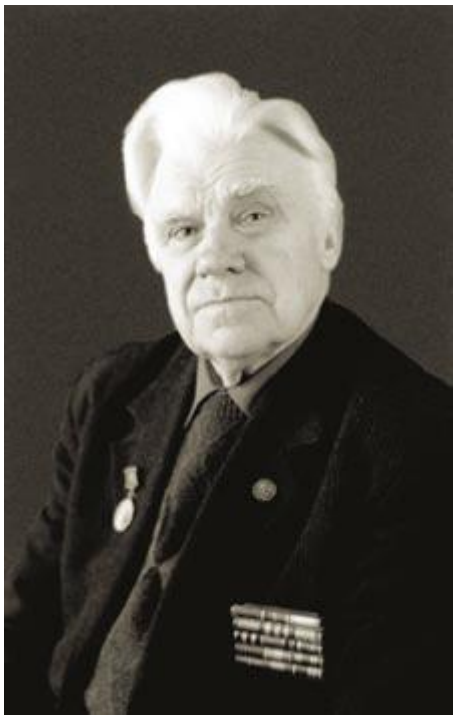
Вторая часть книги посвящена воспоминаниям о Великой Отечественной войне, которую сам автор прошел солдатом. Свою солдатскую службу он начат добровольцем, участвовал в обороне Москвы, обороне и освобождении Северного Кавказа и Кубани. Войну автор закончит сержантом Отдельной мотострелковой дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, в которой ему пришлось служить после боев на Кубани В составе парадного расчета этой дивизии 24 июня 1945 года старший сержант Левыкин принимал участие в Параде Победы на Красной площади.

Всему этому автор книги, историк, профессор К. Г. Левыкин дает объяснение и оценку.

Содержание

Часть I 7
Конец ознакомительного фрагмента. 81

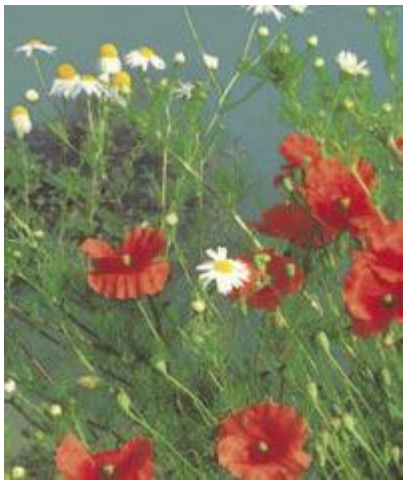
Левыкин Константин Григорьевич
Памятью сердца в минувшее…



Левыкин Константин Григорьевич – уроженец деревни Левыкино Мценского района Орловской области. Родился 25 февраля 1925 года. В 1941 г. окончил 9 классов в школе № 270 Ростокинского района города Москвы. Участник Великой Отечественной войны – доброволец. Оборонял Москву в 1941–1942 гг. В 1942–1943 гг. воевал на Северном Кавказе и на Кубани.

Участник парада Победы 24 июня 1945 года.

В 1949–1954 гг. учился в Московском Государственном университете имени М. В. Ломоносова. В 1957 г. закончил аспирантуру исторического факультета МГУ. Кандидат исторических наук. Профессор МГУ. В 1976–1992 гг. – директор Государственного Исторического музея.



Часть I
Воспоминания о московской жизни в далекие счастливые и тревожные тридцатые годы XX века

Памяти учителей и одноклассников моих посвящаю

С городской жизнью и с Москвой я познакомился еще до того, как стал ее постоянным жителем. Теперь, уже на восьмом десятке лет, мои ностальгические воспоминания о детских деревенских далях вдруг стали перемежаться с неожиданными картинками такой же далекой Москвы моего детства.

Я помню ее с тех пор, когда Триумфальная арка еще стояла на своем старом месте, в конце Тверской, перед Александровским (ныне Белорусским) вокзалом. Через Красную площадь ползали трамваи и, гудя, проскакивали автомобили. На старом месте еще стояла Сухарева башня, а недалеко от нее жил криминальными нэповскими страстями Сухаревский рынок. Около кинотеатра «Форум» зимними вечерами на освещенной эстраде-раковине играл военный духовой оркестр, наверное, из Спасских казарм. А в сквере на Садово-Самотечной улице выступали бродячие цыгане с гитарами и бубнами, с дрессированным, потертым до жалости медведем. На Цветном и Чистопрудном бульварах детей катали на верблюде и на слоне. Наверное, это занятие было их приработком к цирковой программе. А на бульваре Екатерининской площади можно было покататься на красивых пони.

Я помню Москву с извозчиками. Зимой они возили москвичей в санках с меховым фартуком, укрывающим от холода и снега их ноги. А летом и осенью они разъезжали на пролетках с огромными колесами, на рессорах, с мягкими сиденьями, накрытыми в дождливую погоду кожаными козырьками. Особенно красиво смотрелся этот московский транспорт у вокзалов. Пролетки или санки, запряженные сытыми лошадьми, стояли полукольцами перед вокзалами.

На облучках сидели извозчики в подпоясанных кушаками, длинных до пят кафтанах в сборку по талии. Позы у всех были разные – одни восседали гордо в кучерских колпаках набекрень, другие дремали, скособочившись на своих облучках, вот-вот готовые упасть, а третьи – словно думу думали о своем житье-бытье, про овес, про больную жену, а может, еще про какую-нибудь беду или горе. А лошади жевали овес из брезентовых, надетых на их морды торб. Доедая свою норму, они мотали головами, подбрасывая торбы и ловя в них остатки зерна.

Помню я и поражавшие меня тогда, особенно зимними вечерами, освещенные необыкновенным светом московские улицы со спешащими пешеходами в казавшейся мне необыкновенной городской одежде.

Московские молодые женщины носили тогда разноцветные береты. Пальто у многих зимой были с пышными меховыми воротниками, а на ногах были надеты белые фетровые боты. Они надевались на легкие туфли для тепла. Женщины перебирали своими быстроходными ножками в этих, наверное, тяжелых ботах, будто убегая от подгонявшего их вечернего морозца. Скрипел под ботами снежок, а они, укрыв свои носики в пышные меха воротников и спрятав руки в меховые муфты, все бежали и бежали друг за другом по московским тротуарам. А среди них иногда появлялись парочки. Принято было тогда в городе мужчинам водить своих жен и ухажерок под руку. Среди мужской московской публики много еще было таких, которые носили зимой пальто на хоревом меху с воротниками «шалью». А шапки у них были каракулевые, пирожком. На ногах, поверх ботинок, блестели галоши и белели фетровые гетры. Мужчины бережно и в то же время с достоинством вели своих

спутниц по тротуарам мимо ярких витрин гастрономических, бакалейных, мясных, кондитерских, булочных, парфюмерных и галантерейных магазинов, мимо окон парикмахерских салонов, различных мастерских, кафе и ресторанов. Само слово «ресторан» мне долго оставалось непонятным. С самого раннего детства помню я улицы Сретенку и Первую Мещанскую. Сейчас они составляют общую магистраль, а тогда посредине перекрестка с Садовой были разделены Сухаревой башней. Путешествуй по магазинам, Мама иногда брала и меня с собой. Много соблазнительного я видел в магазинных витринах и часто мешал ей своими капризными требованиями. Чаще, вместо их удовлетворения, я получал назидательные шлепки. Оттого и помню эти улицы и магазины, и их витрины и прилавки, и даже услужливых продавцов.

По вечерам улицы освещались электрическими фонарями. Но все-таки главный свет на них лился через стекла витрин магазинов. А в переулках было темно. Не во всех были фонари, а в некоторых еще продолжали тускло светить газовые горелки.

По улицам Москвы днем и ночью плыли и плыли в разных направлениях трамваи, звеня сигнальными колоколами, серебристыми трелями звонков и гудя рельсами на крутых поворотах своего маршрута. Этот звон и гудение в зимние вечера казались какой-то завораживающей музыкой. Она как бы украшалась светом сигнальных огней в маршрутных фонарях трамваев. Под музыку рельсов, звон колоколов и звонков их огоньки плавали в ночи, как разноцветные шары: синие, красные, зеленые, белые, фиолетовые, в разных сочетаниях. Поздними морозными зимними вечерами эта трамвайная светомузыка томила нетерпением и подбадривала ожиданием замерзающих на остановках запоздавших горожан, добиравшихся домой из гостей, из театров и кино до своих теплых квартир.

Я помню почти все главные трамвайные маршруты того времени – бульварную «Аннушку», кольцевую-садовую «Букашку», заяузскую «Верочку», межвокзальную «Двойку» и другие номерные и световые знаки и отличия. С родителями мне часто приходилось ездить в разные концы Москвы, чаще по врачам и больницам, а иногда и по гостям. В этих трамваях памяти я и теперь мысленно возвращаюсь в минувшее, в Москву моего детства.

Водителей трамваев тогда называли вагоновожатыми. Они были одеты в специальную униформу, похожую на железнодорожную. Но особенно впечатляюще эти мастера трамвайного вождения выглядели зимой, одетые поверх формы в огромные овчинные тулупы. А на ногах у них были тоже огромные валенки. Вагоновожатые сидели на специальном высоком винтовом стуле. Точнее сказать, они не сидели, а полустояли. Одной рукой в рукавицах они все время поворачивали какую-то медную ручку и, в зависимости от этих поворотов со щелчками, трамвай трогался, набирал скорость, замедлял свой бег и останавливался. А другая рука лежала на большом круглом колесе, похожем на руль. Иногда вагоновожатый быстро вращал это колесо, и трамвай резко тормозил. Одной ногой он попеременно нажимал на два блестящих штыря со шляпками, торчащими из-под пола, и оттуда, из-под пола, словно бы из-под колес раздавался то колокольный звон, то разливчатая трель электрического звонка. В каждом вагоне на специальном сиденье возвышались фигуры кондукторов. Они продавали билеты, объявляли остановки и с помощью веревки, протянутой сверху вдоль вагона, подавали сигнал вагоновожатым к отправлению, а иногда и к экстренной остановке. Трамвайными кондукторами чаще были женщины. Но в ту далекую, вспоминаемую мной пору кондукторами служили еще и мужчины. У них через плечо были надеты специальные кожаные сумки с жесткими медными застежками, в которые они складывали деньги, получаемые за билеты. А билеты различного достоинства – в 10, 15 и 20 копеек – на специальном устройстве рулонами катушек висели на груди кондуктора слева под правую руку или закреплялись на колодке, если они были изготовлены в виде пачек. Кондуктор одновременно раздавал билеты, принимал деньги, давал сдачу, объявлял остановки, дергал за веревочку,

давая вагоновожатому сигнал отправления, руководил входом и выходом пассажиров. Иногда это руководство звучало в вежливых, просительных или требовательных интонациях, а иногда оно превращалось в долгую перебранку с пассажирами на выразительном московском городском языке.

В часы пик трамваи были переполнены пассажирами. На подножках они висели гирляндами. В вагонах было тесно. То и дело вспыхивали перебранки между входящими и выходящими. И всей этой трамвайной жизнью руководил кондуктор. И полз московский трамвай по рельсам, причудливо переплетавшимся на перекрестках и поворотах московских улиц. Кондуктор до хрипоты спорил с неподатливой публикой. На каждой остановке ее все прибывало и прибывало. На подножках и справа, и слева висели безбилетники. А на буфере последнего вагона, уютно устроившись, обхватив руками тормозной шланг-колбасу, неизвестно куда и зачем обязательно путешествовал беспризорник.

Были тогда уже в Москве и такси, и автобусные маршруты. Автобусы были заграничного производства, красно-коричневого цвета и с овальными боками. Двери их висели на шарнирных устройствах, а подножки качались из стороны в сторону. Ездить на них часто мне не приходилось. С детских лет мне полюбился трамвай. Я и сейчас считаю этот вид транспорта наиболее удобным. В те далекие времена они, мне кажется, содержались в лучшем виде, чем сейчас. Деревянные сиденья в вагонах были выкрашены под левкас в красный цвет и приветственно радовали глаз пассажиров. И горели в вагонах всегда яркие электрические лампочки.

Проберешься, бывало, с Мамой через переднюю площадку в переполненный вагон и, стоя на одной ноге, терпишь все неудобства, пока тебе не посчастливится занять освободившееся место у заснеженного окошка. Сидишь, мерзнешь и едешь неизвестно куда, так как в окошко ничего не видно. Потом, по примеру соседей, начинаешь усиленно дуть на толстый слой инея. Наконец продуваешь маленькую дырочку, через которую становится виден мир. Ехать становилось веселей. Чтобы дырочка вновь не замерзла, время от времени дуешь в нее снова. Каждый пассажир таким способом делает для себя это смотровое отверстие, чтобы следить за дорогой и не проехать нужную остановку. Наконец приезжаешь или к месту назначения, или к остановке, на которой делается пересадка на другой маршрут. В новом трамвае все начинается сначала. А у Мамы свои беспокойства. Очень она всегда волновалась, успел ли Отец сесть в наш вагон с задней площадки. С передней ему входить было не положено. Взял ли он билеты? А если мы ехали без него, то надо было передать деньги кондуктору, затем получить обратно билеты. А потом Мама, беспокоясь, чтобы не проехать нужной остановки, неоднократно через весь вагон обращалась к кондуктору с вопросом, скоро ли будет наша остановка.

На трамвайные поездки уходило очень много времени. Зато они помогали увидеть и запомнить Москву. Так я и узнавал ее в далеком детстве – через маленькие щелочки в запорошенных зимним инеем трамвайных окнах.

Все эти картинки Москвы возникали передо мной и сохранились в моей памяти еще с конца двадцатых годов – с ежегодных зимних наездов из деревни с Мамой к столичным докторам, чаще всего по причине моих болезней. Но были и другие причины, которые требовали периодического присутствия Мамы в Москве. Здесь складывалась новая жизнь нашей семьи, и мамино присутствие при этом было необходимо. Отец в деревню возвращаться был не намерен, а одного его без присмотра оставлять Маме было опасно. Надо было беречь семью. Но переехать на постоянное жительство всей семьей сразу было невозможно. Первое время Отец обретался по чужим углам, не имея постоянной прописки и места работы. Потом Мама отправила к нему старших братьев для продолжения учебы. Теперь Отцу оказалось возможным снять комнату. Старые дореволюционные друзья помогли ему устроиться на работу по торговой части. Наше будущее все определеннее и настойчивее связывалось со

столицей. Но деревня еще прочно удерживала нас в уходящем прошлом. Здесь был хороший дом под железной крышей с прекрасным яблоневым садом, лошадь, корова, амбар и двор под черепичной крышей. Не просто было родителям навсегда расстаться с этим, неизжитым еще из сознания укладом. Но жизнь упрямо толкала на новую дорогу, которую они фактически выбрали еще в далекие предреволюционные годы. Обустроившись после революции в деревне, обзаведясь хозяйством, они не могли забыть цивилизованной городской, столичной жизни в удобной квартире в Гарднеровском переулке. О ней Мама много рассказывала, вспоминая мирное время накануне Первой мировой войны. В этих воспоминаниях она оставалась еще городской женщиной. В Москве жили друзья нашей семьи, здесь были общие компании и интересы, общение по будничным дням и за праздничным застольем. Прошлая жизнь тянула и Отца и Маму в этот сверкающий электричеством мир, тянула не только незабытыми обывательскими привычками, но и новыми интересами к культуре и просвещению. Тогда, в «мирное время», родители мои познакомились с классикой русского кинематографа, с его звездой Верой Холодной, слушали песни Вари Паниной и Надежды Вяльцевой. Им были знакомы имена Шаляпина, Собинова. Хаживали они и в Малый, и в Художественный театры, видели первую постановку «На дне» и «Растеряеву улицу» с участием корифеев русской сцены. Мама по-своему, очень чувствительно воспринимала воссоздаваемую на сцене знакомую ей реальную жизнь. О прошлой городской жизни Маме напоминали старые московские друзья, которые ежегодно летом приезжали к ней в гости на отдых, на деревенское молоко и вкусные пироги и лепешки. Наверное, глядя на них, она не только вспоминала недавнее прошлое, но и скучала по нему.

Отец уехал из деревни в 1925 году, окончательно поняв, что в крестьянской жизни удачи ему не будет. Но нажитое хозяйство он не ликвидировал, а поручил его беречь своей жене. Мало ли что, – думал он, – может случиться в новой, уже неизвестной ему Москве.

Мы, то есть я, моя сестра Антонина и Мама, крестьянствовали до самого начала коллективизации и даже успели стать колхозниками. Но однажды, похоронив свою свекровь, Мама собрала нас в дорогу, заколотила окна и двери дома, оставила на попечение соседей корову Рябку и черную с белым бантиком кошку Мурку, и мы нежданно и непрошено приехали в Москву, как оказалось, навсегда. Так я и стал москвичом. О деревне с тех пор я храню воспоминания и теперь тоскую по ней, а в Москве я прожил всю жизнь, в ней вырос, выучился, ее оборонял в сорок первом, в нее вернулся после войны и устроил свою жизнь так, как смог. В Москве я похоронил своих родителей. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что и мне определено завершить здесь свой жизненный путь.

Во времена наших периодических зимних наездов Отец со старшими сыновьями квартировал у хозяев в Безбожном переулке, в доме под номером 24. Он снимал комнату на первом этаже, во флигеле внутри двора. Мне запомнились хозяева квартиры Анциферовы как добрые и гостеприимные люди. Они участливо относились к моим болезням, давали Маме различные советы об известных им врачах-специалистах и о больницах. А меня они одаривали гостинцами. У них я впервые в жизни увидел наряженную старинными елочными игрушками рождественскую елку. Коренные московские обыватели, особенно проживавшие во дворах старинных переулков, не переставали тогда, несмотря на официальное идейное осуждение обрядов, праздновать новогодний и рождественский праздники. Они сохраняли наборы удивительных елочных украшений в виде необыкновенных бумажных цветов, разолоченных орехов, хлопушек, бонбоньерок с конфетками, всяких зверушек из папье-маше. На ветки вешали настоящие яблоки, мандарины, пряники, печенье и длинные, в красивой обертке, конфеты. Елки сияли блеском мишуры, зимнего дождя и огнем свечей. Несмотря на опасность пожара, люди не отказывали себе в удовольствии зажечь на них свечи в новогоднюю и рождественскую ночи.

Наряженную новогоднюю елку я запомнил с тех далеких приездов в зимнюю Москву. И когда она наконец обрела законный праздничный статус, меня это не удивило. Удивляло лишь, почему так долго людей заставляли отказываться от этого красивого праздника и замечательного удовольствия.

Запомнились с тех далеких моих приездов и некоторые окрестности Безбожного переулка. Помню, как мы с Мамой выходили на Первую Мещанскую улицу встречать возвращающегося с работы Отца. В его карманах я находил всегда недеревенские гостинцы в виде конфет-мишек и совсем еще тогда незнакомых мандаринов. Иногда мы с Мамой заходили в магазины. Из них мне особенно запомнился зеленной магазин с неожиданно, в зиму, летними запахами земли, кореньев, травы и овощей. В деревенскую холодную зиму о таком удовольствии можно было только мечтать. До весенних проталин там живую зелень можно было увидеть только на подоконниках, в горшках с цветами. Мы гуляли с Мамой по Первой Мещанской в одну сторону до Виндавского вокзала и Крестовских башен, а в другую – до Сухаревой башни и большого универсального магазина фирмы «Меллев, Корташев и К °», что находился на углу Сухаревской площади и Сретенки. Иногда мне удавались и самостоятельные вылазки со двора вместе со сверстниками. Мы перелезали через забор заднего двора и оказывались сразу в каком-то ином мире. Здесь росли высокие деревья, а внутри необыкновенных стеклянных домов и вовсе росли необыкновенные растения. Тогда я услышал впервые название «Ботанический сад», но что это значило, я так и не узнал. Не знал я тогда, что это был старинный Аптекарский огород, устроенный в далекие времена при Московском университете. Когда моя Мама узнала, что я лазил в Ботанический сад, мне, конечно, попало.

Бывали случаи, когда, опять же со сверстниками, мы выбегали со двора на тротуар переулка. Тогда я увидел напротив нашего дома двор военных казарм. Много лет спустя я узнал, что в этих казармах когда-то стоял Астраханский полк, принимавший участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, а в 1905 году отличившийся своим сочувственным отношением к революционно настроенным жителям столицы.

А на углу Безбожного и Астраханского переулков была тогда прачечная, в которой работали китайцы. Удивительно мне было то, что белье там стирали мужчины. В то время я считал, что занятие это совсем не мужское. А женщины-китаянки поражали меня необыкновенной обувью на маленьких ножках и еще тем, что они торговали здесь же, около прачечной, невиданными мной до этого времени бумажными игрушками – цветами, шарами, драконами и различными свистульками типа «уйди-уйди».

Был там же, неподалеку от нашего двора, маленький деревянный домик, в окно которого мы спусками пятачок, и чья-то рука выдавала нам за это кулечек с вафлями. Мне так и осталось неведомым, кто же был этим добрым человеком, который за пятак угощал нас вкусными круглыми вафлями. Все это я запомнил, еще не ставши тогда постоянным московским жителем. После длинной побывки и излечения от болезни наступало время, когда Отец сажал нас с Мамой на извозчика и отвозил на Курский вокзал. Архитектуру этого сооружения – его экстерьер, интерьеры, подземные тоннели и перроны я запомнил тоже с тех дней отъезда, вместе с ночной холодной вокзальной тревогой. Перед посадкой в поезд мы с Мамой в волнении сидели на своих деревенских корзинах в огромном зале, а Отец долго бегал по билетным кассам. Потом он прибегал к нам с билетом в руках. Оказывалось, что поезд вот-вот должен уже отойти. Меня хватали за руку, и мы бегом по холодному ночному тоннелю бежали к выходу на перрон. Выбегали из вокзала в холодную ночь, и передо мной сразу возникала таинственная, жутко манящая куда-то, ночная железнодорожная даль с красными и зелеными огнями семафоров. И еще, с тех пор я запомнил странное и непонятное мне слово на одном информационном табло – «Минводы». Мне долго объясняли, что это значило. Но я никак не мог понять, почему какой-то город мог называться таким непонят-

ным и в то же время простым словом. Мы уезжали зимней московской ночью в непонятную даль под названием «Минводы». А утром следующего дня оказывались на своем родном полустанке под знакомым и не вызывающим никаких сомнений не по-русски звучавшим названием «Бастыево».

Но вот мы навсегда приехали в Москву. Отец встретил нас на вокзале и привез на Третью Мещанскую, в дом номер 53. Здесь, в этом доме, семья наша получила первую постоянную московскую прописку. Этот окончательный приезд в Москву отличался от всех предыдущих тем, что на этот раз Мама приехала со своей кроватью, буфетом и дубовым обеденным раскладным столом. Мебель эта была приобретена родителями еще в дореволюционный период их жизни в столице в Гарднеровском переулке. От тогдашнего сборного гарнитура в деревне оставались еще плюшевый диван с высокой спинкой и орехового дерева гардероб с комодом. Привезенную в Москву часть домашнего убранства ставить было негде. Нам всем еще долго предстояло жить по чужим углам, и мы с этой деревенской мебелью несколько раз перекочевывали от одних квартирных хозяев к другим. В доме номер 53 по Третьей Мещанской Отец тогда снимал комнату у тамошних квартиросъемщиков Никифоровых в трехэтажном каменном флигеле. Комнату, в которой мы жили некоторое время, и хозяев квартиры я сейчас представляю смутно. Помню самого хозяина, Никифорова, и двух его дочерей. Одну из них звали Варварой, а другую, младшую, Симой. Она была азартной хоккеисткой и играла в команде соседнего с нашим двором парка-стадиона под названием «Профинтерн». Пожалуй, эта девушка и видом, и азартом своим подала мне первый пример увлечения спортом. На каток и с катка она ходила с хоккейной клюшкой на плече, на которой сзади висел чемодан с коньками и другим снаряжением. На голове ее лихо возвышалась вязаная шапочка. Разговаривала она громко и уверенно и всегда была весела и жизнерадостна.

Вообще-то в нашем дворе не одна Сима Никифорова заражена была спортивным азартом. Значительная часть тогдашней молодежи в нашем Чулковском дворе увлекалась спортом на разных площадках того же стадиона. Но преимущество отдавалось хоккею и футболу. На стадион все мы обычно ходили через забор. Для того чтобы через него можно было перелезать, ребята устроили специальное приспособление – лестницу из металлических клиньев, вбитых в толстый ствол ивы, росшей вплотную к забору. Но у нас на заднем дворе была и своя тренировочная площадка. Летом старшие ребята устанавливали на ней футбольные ворота. Тренировки проходили здесь постоянно. Играли обычно в одни ворота. А зимой площадка заливалась водой и шла игра в хоккей в двое ворот. На нашем дворовом льду, между прочим, вырос знаменитый хоккеист, сподвижник Всеволода Боброва Александр Стриганов. Он уже и тогда был знаменит своей хоккейной кличкой – Стриж. Еще одним занятием знаменит был наш Чулковский двор – на дворе была голубятня братьев Ивановых с приличной партией породистых голубей. К азартному занятию гонять голубей приобщены были почти все ребята. Братья-хозяева позволяли всем участвовать в этой забаве.

С заднего двора и за красным кирпичным флигелем с нами соседствовала парфюмерная фабрика «Красный Май», которая до революции, да и после нее, вплоть до тридцатых годов, в местном обиходе именовалась по имени ее хозяев фабрикой Бодло. Долгое время рядом с нашим домом по Третьей Мещанской, вплоть до ее последней реконструкции накануне Московских Олимпийских игр, стоял четырехэтажный благоустроенный дом, в котором когда-то жили хозяева этой фабрики. Дом был с роскошным подъездом, вестибюлем и лифтом. Мы, ребятишки, проникали иногда в этот роскошный зеркальный вестибюль, и лифтерша за 10 копеек катала нас в шикарном лифте один раз вверх и вниз. Проникали мы, конечно, и на соблазнительный фабричный двор, тоже через забор, а иногда и под забором. Там в ящиках хранилась стеклянная тара для производимых здесь духов – графинчики, флакончики, колбочки и пузыречки. Добытые в результате наших набегов трофеи украшали многие комоды и шкафы в квартирах обитателей Пулковского двора.

Двор нашего дома под номером 53 по Третьей Мещанской улице в обиходе назывался Чулковкой, по имени известного московского домовладельца, которому до революции принадлежали все эти строения. Каменный трехэтажный дом фасадом вдоль улицы делился пополам въездными воротами, как положено, с дворницкой. Ворота на ночь запирались дворником, и запоздавшие обитатели двора звонком будили его, чтобы он впустил их в дом, конечно, за чаевой рублик. Как и повелось, дворником у нас был татарин. Все работы по двору делала вся его семья «от мала до велика». Но изрядную долю этих работ охотно выполняли и мы, то есть дворовая детвора. Особенно нравилось нам зимой скребком очищать затоптанный тротуар и возить убранный с улицы снег на санках с большим ящиком на задний двор.

По вечерам дворницкая подворотня была местом сбора старшей дворовой молодежи. Стояли у ворот наши парни за каким-то разговором, а то и просто молча. А иногда под гитарку напевали «Ох, эти черные глаза», «Девушка из маленькой таверны», «Вернись, я все прощу» и другие душещипательные модные романсы. Прохожие опасливо проходили мимо таких ребячьих стай. Были, наверное, у них основания для такой осторожности. Иногда подобные компании в темных московских переулках были опасными для запоздавших пешеходов. Но ребят с нашего двора упрекнуть было не в чем. Наш двор был вполне добропорядочен. Безнадзорной молодежи у нас не было. У всех были родите ли, все дети здесь вырастали под их строгим присмотром. Исключением, однако, из этой благополучной среды был только Шурик Студенцов. Он на наших глазах вырастал жуликом, вором или, как их тогда называли, уркой. Родители его, между прочим, были вполне порядочные люди, даже очень интеллигентного вида. А красивую сестру Шурика звали Марго. У меня сохранилась фотография всего нашего ребячьего дворового населения. Имена многих моих сверстников я уже забыл. Но Шурика Студенцова и его красивую сестру я на ней узнаю. Большая часть ребят не вернулась с войны, а Шурик не вернулся из лагерей. Мы все боялись нашего дворового уголовного сверстника, особенно после того, как однажды милиционер, средь бела дня, поймал его во дворе и повел в милицию. Мы гурьбой сопровождали арестованного до самой Части. Так называли перекресток Третьей Мещанской и Божедомки.

Там размещалось депо Мещанской пожарной части и 21-е отделение милиции. Родителям Шурика удалось тогда спасти сына от наказания за какой-то проступок. Но после этого за ним и пошла уголовная слава. Кажется, в конце концов она обернулась для него рецидивами длительных сроков заключения и окончательной пропажей. А его сестра Марго выросла красивой женщиной. Несколько раз после войны я встречал ее в старых довоенных окрестностях Чулковского двора.

В начале тридцатых годов наш двор жил спокойной мещанской жизнью. Запомнились мне некоторые фамилии коренных чулковских семей: Манахтины, Ивановы, Гришаевы, Михеевы, Соськовы, Никифоровы. Все обитатели двора жили мирно, в дружеском общении и в будни и в праздники. Уголовная репутация Шурика Студенцова стала тогда единственным исключением из этой общей благополучной картины. Был у нас во дворе свой парикмахер Алексей Иванович, к которому приходили стричься в предпраздничные дни взрослые и дети. До сих пор я помню и нашего дворового слесаря-водопроводчика. Он был высок ростом, тощ. А лицо у него и вовсе было не водопроводческое. Не будь он небритым, неумытым и постоянно выпившим, выглядел бы он вполне интеллигентным человеком. Может быть, он был бы похож на француза типа Шарля де Голя. А иногда, уже по далекой памяти, он казался мне похожим на знаменитого эстрадного куплетиста Илью Набатова. Конечно, как и нынешние слесари-водопроводчики, дядя Володя был алкашом. Но тогда таких, как он, просто называли пьяницами. Он всегда был при деле и поэтому всегда был пьян. В те далекие времена расплата с водопроводчиками за труд производилась «натурой». Идет, бывало, по двору тощий, небритый, долговязый дядя Володя в длинном, до пят, с чужого плеча пальто,

со своими нехитрыми инструментами – прокачкой и проволочным тросом, а мы сзади бежим за ним, дергаем его за полы и дразним: «Дядя Володя! Пу-пу». Почему «Пу-пу», – до сих пор не знаю. Умер он от белой горячки. А сметливая наша квартирная хозяйка Дарья Никаноровна сообразила и отбила по этому случаю телеграмму моему старшему брату, проходившему действительную службу в Красной Армии: «Дядя Володя умер, приезжай хоронить», и заверила ее соответствующей печатью. И командир отпустил братца на похороны дяди Володи, который таковым нам не приходился. Невелик был грех. Погулял мой брат на помин Володиной души недельку в нежданном отпуске.

А еще в нашем дворе жила корова. Хозяева ее обитали в заднем одноэтажном деревянном флигеле. А корова жила в сарае, из которого хозяева выводили ее только на время уборки навоза. Очень был я удивлен, увидев это в городском дворе. Мне было очень жалко корову, которая томилась в этом маленьком, темном и вонючем сарае. Я вспоминал нашу деревенскую Рябку и деревенское коровье приволье. Мне сразу несимпатичными стали хозяин и хозяйка этой заточенной в неволе сивой коровы. А обитатели двора и мои родители тоже, тем не менее, охотно покупали у них вкусное молочко.

Иногда двор наш оживал неожиданными затеями. Часто забредали сюда шарманщики с попугаем и таинственными пакетиками с предсказанием судьбы каждому, кто заплатит попугаю рубль. Приходили кукольники с Петрушкой, акробаты с бубнами, которые на расстеленном коврике делали всяческие кульбиты и стойки, звеня при этом бубном.

А рано утром двор вдруг оглашался каким-то таинственным, не сразу понятным коротким пением: «Стреберем, Строберем». Это приходил старьевщик-татарин с пустым мешком на плече. Оказывается, он повторял совсем простое объявление: «Старье берем». Но я, между прочим, не помню, чтобы кто-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь отдавал бы ему из своего старья. Так, чаще всего с пустым мешком он и уходил со двора. Долго в Москве в ту пору старьевщиком-татарином родители пугали своих непослушных и неразумных еще детей. Пугали и меня. И я боялся этих угрюмых мужиков, как мне казалось, с недобрым взглядом и с мешком на плече. И еще я тогда не мог понять, зачем ему нужно было «старье».

Приехав с Мамой в Москву, я быстро превратился в старом Чулковском дворе в городского мальчика. В этом мне помогли сверстники-аборигены Третьей Мещанской улицы. Прежде всего, они научили меня правильно, по-городскому, говорить, произносить слова. Я даже и теперь помню, как однажды меня поправил Колька-Слепой, когда вместо слова «милиционер» я сказал – «минцанер». С одного раза и на всю жизнь я запомнил правильное произношение этого слова. А Слепым моего учителя – Кольку – называли потому, что его отец и мать были незрячими. На московском дворе я скучал по деревенским играм, но зато быстро усвоил правила новых игр, например, в казаки-разбойники; быстро научился кататься на коньках, прикрученных на валенки, и на лыжах. Очень быстро увлекся азартом игры в хоккей и футбол на нашем заднем дворе.

Со двора вместе с друзьями мы выбегали за ворота на нашу Третью Мещанскую с булыжной мостовой и по вечерам освещавшуюся еще газовыми фонарями. Я запомнил, как по вечерам, в начинающихся сумерках на улице вдруг появлялся невысокий мужичок с лестницей. Он шел от столба к столбу, подставлял лестницу, взбирался по ней к стеклянному фонарю и зажигал, как мне тогда казалось, белую свечку. А это была газовая горелка. Она с шипением загоралась. А фонарщик, закрыв дверцу фонаря, спускался вниз и исчезал со своей лестницей в темноте еще не освещенной им уличной дали.

Напротив нашего двора-дома находился Корзинкин двор. А налево от нашего двора на углу Самарского переулка стояла Бабухинская (ранее называемая Екатериненской) больница. Сейчас она называется странным именем МОНИКИ – Московский областной научно-исследовательский клинический институт.

За Бабухинской больницей, вдоль Орловского переулка, простирались тогда больничные огороды. На эти огороды, когда я стал школьником, учителя нас водили знакомиться с природой. Там они показывали нам капустных бабочек и гусениц и рассказывали, какой вред они приносят сельскому хозяйству.

За Бабухинской больницей Третья Мещанская выходила на Трифоновскую улицу и к Напрудным переулкам с домами купца Солодовникова. Здесь тогда была криминальная зона, куда с наступлением темноты случайным прохожим ходить было опасно. Там господствовали уголовные авторитеты и, может быть, была своя «малина». Подрастающую уголовную детвору здесь возглавлял свой атаман по кличке Король. Его боялись все мои сверстники. Он был жесток и мог обидеть любого из нас ни за что, если бы мы ему просто встретились на пути. А брат его Вяча был безногий. Катаясь на подножках трамвая, он однажды попал под колеса и остался без обеих ног, отрезанных по самые бедра. Старший брат был к нему трогательно нежен и заботлив. Он возил его зимой на санках, оберегал от всяческих обид и баловал его самыми сладкими кусками от своей воровской добычи. Много лет спустя мне довелось вспомнить об этих двух братьях из криминального Напрудного переулка. Случайно встретился мне старожил из этого места, мой ровесник. Узнав друг в друге земляка, мы разговорились о знакомых и запомнившихся картинках детства. Он мне рассказал, что после того как однажды навсегда исчез из Солодовки главарь тогдашней воровской шпаны Король, его место среди воровской шпаны занял безногий брат его – Вяча. Авторитет его среди жулья был непререкаем. Он продолжал в страхе держать весь криминальный квартал. А себя, безногого, выдавал за инвалида Великой Отечественной войны. Был он красив лицом, широкоплеч. Надевал матросскую тельняшку с орденами и медалями. Его боялись, но ему и сочувствовали те, кто не знал истинной причины потери ног. Поэтому суда ему не устраивали и даже жалели. А он умело и хитро руководил воровским делом. В конце концов он помер. С его смертью тихо умерла и дурная слава Солодовки в Напрудном переулке.

Недалеко от Солодовки, на углу Третьей Мещанской и Банного переулка, в старинном доме с бельэтажем была библиотека имени А. С. Грибоедова. Преодолевая страх перед возможной встречей с Королем, мы все же ходили в эту библиотеку. Тогда-то я и узнал, что такое библиотека, зачем туда ходили люди и кем был человек, именем которого она была названа.

Ну, а в Банном переулке, конечно, были бани – мужские и женские, трех разрядов: третьего – самого дешевого, без сервиса, второго – для обычного сословия и первого – для состоятельных мещан, любителей парилки, банщицких услуг и банного пива. Перворазрядникам банщик за дополнительную плату делал массаж, подавал им простыни, вытирал их распаренные спины, нежно похлопывая при этом вдоль хребта. А женщины в баню ходили со своими эмалированными тазиками. Вместе с собой они брали и мальчиков. Вот и я впервые познакомился с банным заведением в женском отделении. Необычный банный шум, пар, горячая вода и мыло меня страшили, и я воспринимал это как неизбежное наказание. Но вот однажды в баню меня повел крестный – мой двоюродный брат. Он щедро после мытья напоил меня вкусным ситро, от которого Мама меня тщательно оберегала. После этого я с нетерпением стал ожидать, когда брат опять возьмет меня с собой. Сейчас Мещанские бани сохранились. Но они теперь, как и подобает, видимо, рыночному царству, стали местом удовольствий для банных гурманов, богатых людей. На рубль здесь уже не помоешься и не попаришься.

На том, левом от нашего двора, конце Третьей Мещанской, где она упиралась в Трифоновскую, стояла большая Трифоновская церковь. Сейчас она восстановлена только в древних своих формах.

А я помню церковь еще до реставрации, во время которой снесли ее большую часть. Сюда наша квартирная хозяйка Дарья Никаноровна Монахтина водила меня к причастию. А напротив церкви, на задах Виндавского вокзала, были дровяные склады, на которых по орде-

рам жителям выдавалась зимняя норма дров. Получить эти дрова было не просто. Начинали с того, что нанимали возчика. С ним хозяева квартир ехали на склад. А кладовщик все время норовил сбыть им осину да ольху. Получить березовые или сосновые двухметровые бревна стоило особой «уважки». Добычу привозили во двор к дровяному сараю, потом пилили, кололи и укладывали. Наши дома тогда отапливались только дровами, и у каждой семьи во дворе был свой дровяной сарай. В начале тридцатых годов предприимчивый человек свободную половину этого коллективного кирпичного сарая перестроил под жилье. Москва тогда пополнялась людьми из провинции, уезжающих от грехов и памяти прошлой жизни. Они осваивались в старых московских дворах, приспосабливая под жилье и старые дровяные сараи.

В стороне, противоположной описанному концу Третьей Мещанской улицы, то есть направо, при выходе из ворот Чулковки, стояла школа. В ней я начал свою учебу в 1932 году. В ней же училась моя старшая сестра. За школой стоял уже описанный мной дом дирекции фабрики Бодло с шикарными окнами, вестибюлем, мраморной лестницей и лифтом. А напротив этого дома был забор и два строения психиатрической больницы. Обыватели тогда называли эту больницу Сумасшедшим домом. За забором, в небольшом парке гуляли, по нашим понятиям, сумасшедшие люди, и мы со страхом и любопытством рассматривали их через заборную щелку, а иногда, по неразумению и невоспитанности своей, кричали им пакостные слова. Да простит нас за это Бог!

На нашей стороне, за домом Бодло стоял мало чем приметный одноэтажный дом. Он и сейчас на своем месте, уже которое десятилетие стоит огороженный забором и лесами. С далеких детских времен я запомнил этот дом и фамилию ее знаменитого хозяина – артиста Михаила Семеновича Щепкина. Я умел уже тогда читать и смог самостоятельно прочитать надпись на мемориальной охранной доске. Дом уберегло время. Видимо, доска сыграла свою роль. Неоднократно возникали попытки убрать эту «деревянную рухлядь. Но доска, упоминавшая имя великого русского артиста, берегла дом. Его даже не сломали во время недавней реконструкции всего пространства между Третьей Мещанской, улицей Дурова и Самарским переулком в процессе строительства спортивного Олимпийского комплекса. Но на большее у московских властей не хватило сил и средств. Дом, вернее сгнивший его скелет, еще стоит, окруженный лесами и забором. Но теперь уж мало кто знает, что в нем когда-то жил великий артист, которого здесь посещал великий русский писатель Н. В. Гоголь.

Далее, за историческим Щепкинским домом, между Второй и Третьей Мещанскими улицами, слева высилась Серединская (митрополита Филиппа) церковь, а справа – высокий пятиэтажный многоквартирный жилой дом. Тогда это место называли странным названием – Чернятинка, наверное, тоже по имени хозяина-домовладельца. Сейчас этот дом сохранился. В его нижнем этаже размещены кассы Олимпийского стадиона.

От Чернятинки справа тянулся квартал рядовых домов. В одном из них родился и жил космонавт Комаров, очень скромный и симпатичный человек, с которым мне довелось быть знакомым в пору его предсмертной славы. В нем, во славе его имени, меня особенно порадовали простые и добрые человеческие качества.

Слева на улице и поныне стоит старый особняк в два этажа. В двадцатые-тридцатые годы этот дом охраняли грозные дяди с огромными маузерами в деревянных колодках. Здесь размещалось тогда Польское посольство. Потом, уже после войны, он стал Дворцом бракосочетания. Сейчас в нем расположились какие-то неизвестные простым людям структуры.

Перекресток Третьей Мещанской и Божедомки (ул. Дурова) именовался среди местных жителей простым словом «Часть», С XVIII века это место именовалось Мещанской пожарной частью. Я помню, как в детстве из ее депо выезжали пожарные машины с пожарными в медных касках, со звоном сигнального колокола и пением трубы. Дух захватывало,

когда две машины красного цвета с сиянием медных шлемов и оглушающим звоном автоклаксона и медной трубы проскакивали на пожар мимо застывших от испуга прохожих.

На Божедомке мне запомнился еще большой гастрономический магазин в доме, в котором жил добрый мой доктор Гуревич. А напротив этого дома была больница, куда Мама меня водила несколько раз на рентген. Смысл этого посещения мне был непонятен, но связан он был с моими очередными простудами. Мама водила меня туда с понуканиями и обычными материнскими угрозами о наказании, если я еще раз заболею.

Дальше, за пределы Третьей Мещанской, я ходил редко. И этот конец нашей улицы, вплоть до Садово-Самотечной, был мне ничем не памятен.

Все, что я сейчас написал о Третьей Мещанской улице, вспоминается и видится глазами того далекого мальчика, только что приехавшего из деревни. Мне тогда еще снились наш деревенский дом с сиреневым палисадником и садом, корова Рябка и собака Шарик на цепи у амбара. Во сне я кричал на него, когда он пугал наших кур и гусей. Во сне я скликал их и будил всех домашних. А днем я вбирал в себя новые впечатления городской жизни. Теперь Третья Мещанская называется улицей Щепкина, но в ней улицы моего далекого детства я не узнаю. Надо ли было менять ее название? Дом Щепкина уже не одно десятилетие загорожен забором. Прохожие не видят за ним мемориальной доски и никак не связывают ее современное название с именем великого русского артиста.

* * *

Во дворе Пулковского дома по Третьей Мещанской, номер 53, наша семья в составе шести человек проживала на положении временных жильцов без постоянной прописки на жилплощади здешних квартиросъемщиков. От первых хозяев – Никифоровых – мы перебрались в двухэтажный деревянный флигель, на квартиру тоже старожилов двора, Монахтиных. Здесь нам была предоставлена темная (без окон) комната, в которой шести человекам уместиться было невозможно. Старшие братья обычно на ночь устраивались в коридоре или на кухне. Хозяева наши были неплохими людьми, но больших удобств они, однако, предоставить нам не могли. Это не помешало тому, чтобы дружба между нашими семьями продолжалась многие десятилетия до конца жизни и хозяев, и наших родителей. Более того, она была скреплена родственными отношениями. На одной из дочерей главы семьи наших квартирных хозяев – Константина Михайловича Монахтина женился племянник моего Отца Георгий Александрович. Таким образом, линия нашего левыкинского рода получила продолжение в сочетании с московской фамилией Монахтиных из Чулковского дома.

Константин Михайлович Монахтин был высококвалифицированным портным-закройщиком мужского верхнего платья. Как многие мастеровые, он имел слабость к спиртному. Жена его Дарья Никаноровна всякий раз во время обострения этого пристрастия чутко улавливала критический момент и находила радикальные возможности предотвращения последствий. При ее участии дядя Костя быстро приходил в себя. От увлечения спиртным жена его не вылечила, но и не позволила превратиться в безнадежного пьяницу.

У дяди Кости постоянно была приличная клиентура. Работа обеспечивала семье достаток. А Дарья Никаноровна, будучи его второй женой, помогла ему вырастить трех дочерей-сирот – Веру, Елену и Антонину. Младшей из них и суждено было стать Левыкиной. Клиентами дяди Кости со времени стали мои братья, а за ними и я. Пальто для нас родители заказывали ему. Под хмельком он, принимая заказ, приговаривал: «Старик обо всех печалится, обо всех заботится и всем сделает хорошо». Слово свое он сдерживал. Первое мое модное пальто из серого польского драпа он скроил и сшил весной сорок первого. В нем я сразу стал взрослым здоровым парнем с широкими плечами и крепкой мужской фигурой. Глядя на меня в этом пальто, осенью сорок первого ответственный работник Московского

обкома комсомола признал меня годным к боевой службе в истребительном мотострелковом полку.

Итак, с семьей Монахтиных у нас завязалась долгая и прочная дружба, но прожили мы у них недолго. В темной комнате жить было невозможно. И мы переехали в квартиру напротив в том же доме, хозяевами которой была семья Ивановых. При нашем бедственном бесквартирном положении нам все-таки везло на добропорядочных квартирных хозяев. И в новой квартире нас встретили приветливо. За небольшую плату они предоставили нам тоже небольшую, в девять квадратных метров, комнату, но уже с окном. В нее вошел наш буфет, стол и родительская кровать с сундуком, привезенные из деревни. На ночь и стол становился спальным местом. Одному из братьев спать приходилось на раскладушке в большой хозяйской проходной комнате.

В 1931 году старшие братья закончили учебу в техникуме и Александр по распределению уехал на Алтай, в Ойротию на строительство автодороги. А другой получил ближнее назначение в город Кашин. Наше квартирное перенаселение, таким образом, ненадолго разрядилось. Мы быстро освоились и подружились с новыми хозяевами.

Их глава – дед Василий Илларионович Иванов – тоже оказался мастеровым. Он был сапожным мастером, мог чинить старую и шить новую обувь. Однако он скрывал свой промысел от фининспектора. Официально он работал ночным сторожем какой-то автобазы в центре Москвы. Вечерами, через сутки, он снаряжался на ночную сторожевую службу, надев военную шинель, подпоясанную широким кожаным ремнем, и сразу превращался в отставного седоусого солдата, бодрого и подтянутого, несмотря на возраст. Дед Василий, однако, не был в семье главным. Фактически главой семьи была его жена. К сожалению, я не помню ни ее имени, ни отчества. В обиходе соседи звали ее, за глаза, бабкой Иванихой. Во внешнем облике ее, да и в поведении было что-то цыганское. Может, она и была цыганкой. Речь ее, убедительная и уговаривающая, не оставляла сомнений в этом и убеждала в беспрекословном выполнении сказанного. Она была не очень ласкова к взрослым сыновьям и всегда больше заботилась о себе. Деда своего она тоже не жаловала, чай обычно пила одна и чайными прикусками предпочитала не делиться. Я ее побаивался, хотя ничего плохого она мне не делала и словом не обижала. С моими родителями за их покладистость она была в ладу. Ладили мои братья и сестра и с детьми наших хозяев. У них было три сына и две дочери. Семья жила обычным мещанским укладом. Все, кроме хозяйки и младшей дочери, еще школьницы Нади, работали. Общественные интересы здесь никого не увлекали. Радио тоже еще не проникло в наш Пулковский двор. Газет хозяева не выписывали. Они их и не интересовали. Комсомольские лозунги до сыновей – братьев тоже не доходили. Один из них – старший, Николай, работал в типографии на Переславке гравером. Но однажды его вдруг арестовали и осудили на большой срок. Оказалось, что осужден он был за участие в изготовлении фальшивых денежных купюр-червонцев. В этом преступном деле пригодилась его профессия гравера. Производство купюр было пресечено буквально на первых нескольких экземплярах, а срок наказания вышел ему немалый – 10 лет. С тех пор ни я, ни родители Николая так и не увидели его живым. Перед арестом он успел жениться на красивой девушке из семьи деревенских беженцев от коллективизации, Кочегаровых, которые тоже успели обосноваться на Пулковском дворе. Но жизни семейной не получилось. Пернобровый, красивый и статный брюнет Николай Иванов навсегда ушел по этапу из памяти родных и соседей по двору. Из заключения он не вернулся. Второй сын наших хозяев, Владимир, вовсе был непородистого вида, невысок ростом, простоват лицом, букву «р» выговаривал по-еврейски. Работал он электромонтером. Был он очень добр, а имея профессию электромонтера и вовсе был полезен всем соседям. Он охотно откликался на просьбы сделать электропроводку, заменить перегоревшие пробки и устранить неполадки в несложном квартирном электрооборудовании. Уже в начале тридцатых годов Володя был женат и имел двоих

детей. Жена его Полина родом была с недалекой Селезневской улицы и тоже из московской мещанской семьи. Таких, как она, сейчас по внешности считают сексуальными женщинами. А по старым понятиям она была просто гульливой бабенкой. Володя ревновал ее к бывшим селезневским женихам. Может быть, для этого у него были основания. Наши соседи по дому тоже судачили о поведении Полины. Вспоминая эти пересуды, я сейчас, между прочим, не помню ни одного конкретного случая ее нехорошего поведения. Может быть, Володя для нее был слишком прост и не соответствовал ее девичьим грезам. Может быть, она мечтала о другом счастье. Она часто ходила на Селезневку к своим родителям. Там ее не очень-то привечали. А Володя ревновал. Тем не менее Полина родила ему двоих детей. А хозяйство домашнее она вела с неохотой и очень неряшливо. Жили они с Володей своей семьей, отдельно от родителей. Им была выделена комната. В ней всегда было плохо прибрано. Обед мужу Полина готовила без всякого искусства и фантазии. Детьми она тоже занималась неохотно. Они росли сами по себе и больше ласки и заботы получали от моей Мамы. А Володя, несмотря ни на что, Полину любил и был ей предан. Детей своих, впрочем, он тоже очень любил, особенно сына Кольку. Он потакал его детским шалостям, поощрял его смелые проказы, и Колька рос очень подвижным, способным на непредсказуемые поступки. За это дед прозвал его атаманом. Кличка эта закрепилась за ним на всю жизнь на нашем Чулковском дворе. По возрасту Колька был на год-два моложе меня. Я с ним дружил, как с младшим товарищем. В самом начале войны отец ушел на фронт и тогда же погиб. Успел на войну и его сын, и вернулся с нее Колька-атаман с орденами и медалями, как и его дядя Алексей, третий сын наших хозяев.

Лешка Иванов был ровесником моего брата Александра. Они дружили. Дед Иванов, гораздый на клички, прозвал их «гвоздками». Их имена по двору звучали как Лешка-Гвоздок и Сашка-Гвоздок. По интересам-то они были разными. Мой брат учился в техникуме, а Лешка, как и Володя, тоже «монтерил». Но по двору оба Гвоздка дружили, вместе играли в хоккей, ходили на футбол и на каток в наш сад-стадион «Профинтерн». Но была у Иванова Алексея своя особая страсть – голуби. Он держал большую партию породистых голубей. Были у него и почтовые, и монахи, и чистые, и черночистые, и турманы, и всякие другие масти, которых я теперь не помню. Для голубей на заднем дворе Лешка построил большую голубятню с просторным нагулом. По выходным он с большим азартом гонял свою стаю. А мы ему помогали и свистом, и бегали по крышам сараев, сгоняли с них ленивых голубей, махая руками и шапками. С голубями Лешку подстерегала вечная опасность кражи. На жаргоне голубятников «украсть голубей» значило, коротким словом, их «снять». Я помню, что было несколько случаев, когда из нашей, Лешкиной, голубятни «снимали» самых лучших голубей. И тогда Лешка начинал их искать. Он знал своих соперников-голубятников и у них находил своих питомцев. Однажды мы с Мамой были на работе у Отца в Марьиной Роще. На улице мы неожиданно встретили Лешку. Здесь, в каком-то Марьинском проезде он нашел своих питомцев, сумел их отобрать у вора, и мне посчастливилось помогать ему везти их домой. У меня за пазухой, к моему великому восхищению, грелась пара белых-белых голубей. Они ворковали у меня на груди, а я изо рта кормил их разжеванным печеньем. Иногда Алексей устраивал своим почтовым питомцам испытание: он отбирал несколько птиц, сажал их в садок и увозил куда-нибудь за город. Там он выпускал их на волю и ехал домой. Голуби всегда находили дорогу домой и радовали хозяина своим воркованием, сидя к его приезду на нагуле. А однажды Лешка сделал специальный ящик, обтянутый сеткой, и поселил в нем почти всю стаю. Потом он сдал этот ящик в багаж на адрес нашей деревенской станции Бастыево и тем же почтовым поездом приехал на эту станцию. Мы встречали его, будучи предупреждены заранее письмом и телеграммой. Поезд прибыл утром. Голубей выгрузили. Все они оказались целы и в добром здравии. Хозяин покормил их, напоил и, выпустив из клетки, взогнал их в наше высокое бастыевское небо. Голуби покружили над нами, набрали

высоту и удалились в голубую даль на север. Вся партия благополучно долетела до Москвы и нашла свой нагул в голубятне на Чулковском дворе. Об этом хозяину сообщили телеграммой его товарищи. Погостив у нас несколько дней, Алексей поездом уехал в Москву. Страсти своей Лешка не изменял никогда, но у него были и другие побочные увлечения: он собирал пластинки с записями Лещенко, Ляли Черной, Тамары Церетели. Любил он слушать романсы и все слова их и мотивы знал на память и иногда по вечерам в компании друзей, во дворе, напевал под гитару. Была у Лешки мелкокалиберная винтовка. Он сумел украсть ее в тире на стадионе «Профинтерн» и тайно прятал. Говорил, что винтовка нужна ему для охраны голубей. А однажды – я случайно оказался тому свидетелем – Алексей поменял у парня с соседнего Корзинкиного двора свою винтовку на револьвер. Назначение этого оружия я тогда оценить не мог и очень удивлялся этому обмену. Винтовка была много красивее тупорылого револьвера-бульдога. По-моему, это оружие Алексею не понадобилось: вором и бандитом он становиться не собирался. Война позвала его в числе первых, там ему выдали другое оружие. С фронта он пришел старшим лейтенантом. Старики-родители к этому времени еще постарели. В доме старшего брата Володьки оставалась вдова Полина. С ней и сошелся вчерашний фронтовик. Вскоре вдова забеременела и от аборта умерла. А у Лешки нормальная жизнь дальше не пошла: снова стал монтером и потихоньку на калымных, халтурных рублях стал спиваться. Кончилось все белой горячкой и не отпетой смертью. Хозяином же в квартире оставался вернувшийся с войны Колька-атаман. Но и у него и жизнь, и конец ее оказались такими же, как и у дяди. Семья Ивановых, таким образом, исчезла. Старшая из двух сестер – Анна, единственная в нашем дворе партийка и выдвиженка, в годы войны умерла. Ее старший сын, Мишка, встречался мне еще в пятидесятые годы в винном магазине на Ярославской улице, в среде алкашей. Слышал я, что он умер от алкоголизма. А младший – Колька, мой одноклассник, в годы войны был судим и расстрелян за бандитизм. Осталась в живых из семьи Ивановых младшая дочь – Надя. Но она давно исчезла из поля моего зрения, и никто не напомнил мне о ее судьбе.

В квартире Ивановых в Чулковском дворе мы прожили почти три года. В 1933 году Отец получил комнату в фабричном общежитии от чулочной фабрики имени Ногина, где он работал, за недалекой Крестовской заставой. Наша семья наконец обрела свое пристанище в виде одной комнаты в девятнадцать квадратных метров на шесть человек. Мои старшие братья к этому времени вернулись в Москву после отработанного по окончании техникума срока по распределению. Но связь с Чулковкой не была прервана сразу. Там оставались жить наши родственники Монахтины и Левыкины. Целый год каждый день я ездил на Третью Мещанскую в школу номер 15, в первый класс которой я пошел в 1932 году.

* * *

День окончания моего школьного детства я отчетливо помню. А вот день его начала запомнился нервной суетой Мамы и моими переживаниями по поводу записи в школу. В лето 1932 года мы, то есть я, моя сестра и Мама, возвратились из деревни, кажется, 30 или даже 31 августа. Трудно оказалось нам выехать несколькими днями раньше. Что-то плохо было тогда с поездами. Где-то произошло крушение. Поезда пошли с перерывами, не по графику. Они были переполнены возвращающимися с мест отдыха к началу учебного года. Впрочем, ничего нового в этой ситуации не было: так тогда случалось часто, да и теперь происходит что-то похожее. Нам с Мамой следовало бы собраться к отъезду на два-три дня пораньше. Но мы этого не сделали, и 1 сентября 1932 года я в школу не попал.

Вероятно, и тогда, как и сейчас, это событие отмечалось каким-то ритуалом. Во всяком случае, родителям и детям того года этот день запомнился заботами. Наверное, дети-первоклассники шли в школу с новыми сумками-портфелями, в новой чистой одежде. Не уверен,

что кто-нибудь из них шел с цветами. По-моему, цветы тогда не приносили, как сейчас. Но уверен, что у входа в школу детей встречали директор и учителя, и ребятишек строили в линейки и разводили по классам. Потом этот порядок я наблюдал каждый год. Но 1 сентября 1932 года я этой торжественной суеты не пережил: в тот день мы с Мамой бегали из школы в школу, и меня нигде не принимали, так как школы были переполнены, и, как лишних, нас отказывались принимать. Несколько дней подряд Мама с утра брала меня за руку и начинались наши хождения по ближним и дальним улицам, из двери в дверь, из кабинета в кабинет. Тогда-то у меня и сложилось представление о строгих директорах, и долгое время после этого я их опасался. Мама просила, упрашивала, объясняла причину опоздания, но все они оставались строго и равнодушно непреклонными; мне казалось, что моя судьба была им безразлична. Школы были переполнены.

Опоздавших некуда было сажать. Наконец, мы пришли в какой-то особый дом, где было много кабинетов, в которые сразу нельзя было заходить. Случалось, мы приоткрывали дверь в один из них, а оттуда раздавался недружелюбный голос. Нас посылали в другую дверь, а от нее к следующей. Но в одной комнате все-таки оказался добрый и внимательный человек, он спокойно, глядя поверх очков на Маму и на меня, выслушал наши объяснения, а потом спросил, где мы живем. Услышав наш адрес, он взял листок, что-то написал и отдал Маме, а мне сказал, чтобы я хорошо учился. Других напутствий я больше ни от кого тогда не услышал. А на следующее утро Мама повела меня в школу, которая находилась рядом с нашей Чулковкой. Выйдешь из ее ворот и сразу же направо. Это была школа № 15 Дзержинского отдела народного образования (в аббревиатуре – ДОНО).

Мы пришли в приемную директора. Тогда им был Георгий Михайлович Орлов – известный в нашей стране педагог. В этом качестве он стал известен много лет спустя, а в то школьное утро мне не пришлось его увидеть. Нас принял другой, тоже известный среди московских учителей человек – заведующий учебной частью Антон Павлович Туш. Он был толстый, лысый, очень подвижный и неожиданно добрый человек. Я тогда удивился его доброму и веселому взгляду и долго потом недоумевал, почему же он сразу не принял меня в школу? Мама подала ему бумажку от доброго дяди из вчерашнего казенного дома. Он прочитал ее, а потом взял меня за руку и повел в класс. Там уже шел урок, и учительница что-то писала мелом на доске. Она мне не понравилась. Вид у нее был странный, я бы сказал, не очень опрятный. Юбка висела на ней наперекосяк. Кофта, несвежего вида, тоже как-то неудобно свисала с ее плеч. Роста она была невысокого. Помню еще ее совсем не городское лицо, простоватое и красное, и беспорядочную прическу из будто бы немытых волос.

Антон Павлович что-то ей сказал. Она кивнула в ответ, взяла меня за руку и посадила третьим за парту, где-то в середине класса. Потом она вернулась к доске и стала опять писать и что-то объяснять. Я ничего не понимал, и долго потом на уроках я никак не мог догнать одноклассников в умении понимать и решать. Читать и писать я научился еще до школы, но тут возникла какая-то оторопь. За партой сидеть было тесно, писать на ней было неудобно. Палочки и крючки, а потом и буквы в моей тетради получались некрасивыми. А когда стали писать чернилами, появились кляксы, которые я пытался стереть пальцем. От неудач в школу мне ходить расхотелось. Наверное, тогда я был обречен стать бесперспективным для учителей удочником, т. е. троечником. Конечно, таких, как я, в классе было еще несколько человек. С тех пор я почувствовал традиционное школьное неравенство. Из общей среды сразу выделилась группа отличников и благополучных и группа незадачливых, отстающих, ленивых и, соответственно, недисциплинированных учеников. Группа эта складывалась по различным причинам и поводам. В ней оказывались отнюдь не только нерадивые и недисциплинированные. Было и так, что в число бесперспективных попадали и ученики, не лишенные способностей и даже таланта. Но их почему-то не замечали учителя, однажды определив их туда по каким-то случайным фактам неудач. Они попадали в этот общий серый разряд.

Я замечал эту учительскую несправедливость не только на себе. Мне всегда хотелось быть отмеченным похвалой. Я старался. Но учитель будто бы мне не верил и редко ставил мне оценку выше «уд.».

Много лет спустя, когда уже мой младший сын пошел учиться в ту же школу, в которой окончилось мое детство, я снова столкнулся со знакомой мне профессионально-несправедливой самоуверенностью учителя в оценке способностей и возможностей доверенного ему ребенка. Помню маленькую, симпатичную учительницу с грузинской фамилией – классного руководителя моего Алексея. Ее нельзя было упрекнуть в невнимательности к детям, в незнании своего предмета. Она уже имела опыт педагогической работы. И, к сожалению, уже успела унаследовать профессиональную безапелляционность оценок, свойственную учителям. Как-то однажды на родительском собрании она мне спокойно сказала: «Ваш Алеша очень хороший мальчик. Он очень старается. Но выше тройки он не поднимется». Почему она так уверенно охарактеризовала ребенка, который только-только стал делать самостоятельные шаги в учебе? Она обязана была научить его преодолевать непонятное и выполнять все ее задания. Вместо этого она безоговорочно определила такую серую перспективу «хорошему мальчику Алеше». Я не стал тогда спорить с ней. Но сам сделал все, чтобы получить от сына совсем другой результат. И мне это удалось. Сам же я из разряда непутевых троечников сумел выйти в прилично успевающие с помощью других учителей, которые сумели по-иному оценить мои возможности. Правда, меня никто из учителей не приговаривал так сурово, на всю жизнь. В сентябре 1932 года я пошел учиться в 15-ю школу ДОНО, и все у меня было впереди.

Имя, отчество и фамилию своей первой учительницы я не помню. Мне даже кажется, что я не успел этого узнать потому, что учила она нас недолго. И все же образ ее мне запомнился довольно отчетливо. Какая-то она была неустроенная, неухоженная и растрепанная. Однажды она пришла к нам домой, чтобы познакомиться с моими родителями. Я помню, как Мама угощала ее чаем. Они долго разговаривали, и вдруг выяснилось, что учительнице негде было ночевать. Просто она не имела постоянного места жительства. По тому, как Мама ей сочувствовала, я понял, что ей пришлось покинуть родные места по какой-то несправедливой причине. Многим в те годы пришлось покидать и родные края, и родные очаги, и родителей своих. В тот вечер учительница осталась ночевать в нашей маленькой комнатке в квартире Ивановых на Пулковском дворе. Как сейчас помню, Мама устроила ее спать на полу. И еще мне запомнился серый прорезиненный плащ, в котором ходила учительница и которым тогда она укрылась вместо одеяла. Утром она поспешно собралась и ушла. Где уж тут было заниматься туалетом? Недолго она учила наш класс. Видимо, не нашла она тогда приюта в наших Пулковских окрестностях, и судьба повела ее дальше на его поиски. Мамина женская жалость к ней тогда передалась и мне, и это чувство мне памятно до сих пор. Может быть поэтому я не забыл мою первую учительницу, хотя от ее уроков воспоминаний почти не осталось. Остались в памяти сочувствие и жалость к ней. Какая беда обрекла ее на скитания? Нашла ли она свой приют в тогдашней сложной жизни? Помог ли ей кто-нибудь, как моя Мама?

Мои первые результаты в учебе оценивались тогда на уровне «удочки». Знания в школе в те начальные тридцатые оценивались отметками: «Очень хорошо» (очхор.), «Хорошо» (хор.), «Удовлетворительно» (уд.), «Плохо» (пл.) и «Очень плохо» (очплох.). Иногда я получал и «хоры» – по чтению и арифметике. А по письму выше «уд.» было очень редко. Одолевали не только ошибки, но больше всего – кляксы. Пальцем я, как и другие мои товарищи-мазилы, стирал их до дырок на тетрадном листе. И вид у моих тетрадок тоже был неприличный. Почему-то все время загибались в трубочку уголки обложек. Спустя много лет, глядя на тетрадки моих сыновей, я вспоминал себя. Они тоже, как и я, очень хотели быть примерными и аккуратными. Но их стараний хватало на первые тетрадные странички.

А потом начинались те же стирания огрехов пальцем. Клякс у них не было. Чернилами в школе уже не пользовались. Но типичные ошибки оставались. В моих отметках «плохо» и «очплохо» были редкими, их почти не было. Но «удочки» меня донимали. Я очень хотел от них избавиться, но до пятого класса мне это не удавалось. Однажды нашим новым учителем стал Владимир Иванович – строгий, неприступно строгий молодой человек. Однако мы все его сразу очень полюбили. Наверное, тогда он был не только молод, но и холост. Думаю, что профессию он выбрал по призванию, потому что очень много времени уделял нам и на уроке, и после уроков. Он водил нас на огороды Екатерининской больницы на уроки природоведения, а на Екатерининский бульвар водил смотреть верблюда и пони.

В одном из затемненных классов с помощью волшебного фонаря он показывал нам картинки про бедных негров, которые жили в стране со странным и непонятным названием САСШ. С ним мы разучивали к праздникам стихи и песенки:

Мы веселые ребята.
Раз, два!
Наше имя октябрята.
Раз, два!

Или:

Возьмем винтовки новые,
На штык – флажки.
И с песнею веселою
Пойдем в полки.

Стихи я тоже заучивал с трудом. Легче запоминалось:

Белый снег, пушистый,
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.

Но однажды было задано такое стихотворение, которое я заучивал с большим напряжением и, заучив, никак не мог понять его содержание. Оно было про Туркестано-Сибирскую железную дорогу. Я заучивал с помощью старшего брата, который требовал, чтобы я читал с «выражением». Очень упорная была эта работа, «выражение» не получалось. Брат требовал бесконечных повторений, часто прибегая совсем не к педагогическим приемам. На всю жизнь я запомнил первую строчку этих индустриально-аграрных, железнодорожных стихов:

В Туркестане хлопок растет,
А в Сибири растет пшеница.

Слово «пшеница» я упорно произносил на нашем, деревенском наречии: «пашаница». Так оно удобнее рифмовалось и «выражалось». Брат нервничал, но все-таки ему удалось довести до моего сознания главную идею стихотворения – значение только что построенной Туркестано-Сибирской железной дороги в укреплении дружбы народов и в создании «единого народно-хозяйственного комплекса». Тут я, конечно, прибегаю к терминологии более позднего времени, так как не помню тех слов и определений, которыми пользовался мой домашний наставник – старший брат. Зато таблицу умножения я выучил очень легко и

быстро. Не всем моим братьям по «удочкам» это удавалось сделать с первого захода. А у меня от зубов отскакивало: «Пятью пять – двадцать пять, а семью семь – сорок девять».

По арифметике у меня был «хор.». И по чтению мне было легко. Еще до школы я умел читать не по слогам. Книгу для чтения я одолевал без труда. Но однажды случилась беда. Одну страницу книги я целиком залил чернилами. Много из-за этого пришлось мне пережить. Во-первых, я боялся, что это увидит Владимир Иванович, и я даже не представлял, какое последует наказание. Я старался, чтобы эту страницу не увидела соседка по парте и не наябедничала. Нервы мои были на пределе, когда приходилось раскрывать этот учебник. А когда подошла пора читать текст на измазанной, залитой чернилами странице, то я заранее, по учебнику друга, выучил страничку наизусть и читал ее по вызову учителя громко и бегло, делая вид, что пальцем вожу по тексту. Тайны моей так никто не узнал. В конце учебного года я сдал эту книжку, и никто не заметил огромной чернильной кляксы. Но испытанную тогда тревогу и чувство ответственности я помню и сейчас. Может быть, с тех пор в сознание мое, так же как и в сознание моих сверстников, по другим поводам и причинам навсегда внедрилось чувство общественной ответственности, которое стало неотъемлемым качеством большинства рядовых граждан нашего советского государства. Я помню, что и тогда, в неудачливую пору, я хотел быть хорошим учеником. Мне очень хотелось, чтобы за это меня похвалил Владимир Иванович. Не скажу, что он обделял меня своим вниманием, но «хорошистом» у него я так и не стал. Тогда большую благосклонность я решил завоевать у него другим способом. Правда, это было связано отнюдь не с желанием получить более высокую отметку. Причина была другая. Иногда в школе по классам распределяли ордера на детский ширпотреб, главным образом обувь и одежду. Это были льготные ордера детям из нуждающихся семей. Я не входил в эту категорию. Но мне очень хотелось получить ордер и порадовать им Маму. Но Владимир Иванович раздавал ордера, не принимая меня ни в какой расчет. И тогда! И тогда я решил подарить ему наше деревенское огромное антоновское яблоко, которое Мама давала мне с собой в школу. Реакция Владимира Ивановича на этот мой поступок была в моем понимании жестокой: он очень строго поглядел на меня, и я навсегда расстался с мечтой о персональной благосклонности с его стороны.

В пятнадцатой школе ДОНО на Третьей Мещанской я проучился два года – в первом и втором классах. В 1933 году мы переехали на новое место жительства за Крестовскую заставу, в дальнюю окраину Москвы, которая в то время еще не утратила подмосковного сельского вида. Вблизи нашего дома стояли две маленькие школы, расположенные в деревянных двухэтажных домах. Поступить в них не было никакой возможности, поскольку они были переполнены. И целый год, уже учась во втором классе, я каждый день, во вторую смену, ездил на трамвае в свою пятнадцатую на Третью Мещанскую. Теперь, в нынешние, конца XX века, годы тоже часто можно видеть малолеток с ранцами, кочующих на метро и в троллейбусах с одного конца Москвы на другой. Но теперь это происходит по другой причине. Родители выбирают для детей особые, престижные школы, заботясь об обеспечении им более высокого уровня образования. Я скептически отношусь к этой родительской блажи. Мои дети учились в обычной школе, в той же, где учился и я. Зато она была рядом с домом. Я-то знаю, какими издержками могут закончиться ежедневные путешествия детей по Москве. До сих пор с запоздалым, тяжелым чувством личной опасности я вспоминаю свои поездки на трамвае в школу и, особенно по вечерам, из школы. Ехать-то надо было довольно долго и далеко.

* * *

Квартиру-комнату в деревянном, собранном из дощатых щитов, доме, за недалекой Крестовской заставой родители восприняли как наконец выпавшее нам счастье. А я загоре-

вал. Не хотелось мне уезжать с Чулковского двора, от друзей, от нашего дворового быта, к которому я уже успел привыкнуть. Я загоревал еще больше после того, как в первый раз с Мамой и сестрой побывал на месте нового жительства. Мы долго туда ехали на трамвае. То ли от неохоты туда ехать, то ли от давки в переполненном вагоне, но дорога в тот раз показалась мне очень долгой. Да и трамваи тогда по качающимся рельсам ехали медленно. А за Крестовскими башнями» на узком мосту» встречные трамваи разъезжались по одному пути. И по обеим концам» перед мостом, собирались вереницами в очередь, ожидая, когда пройдут встречные. Этот старый мост сохранился и по сей день. А вот башен Крестовских водонапорных нет с 1939 года. Тогда их взорвали и убрали с проездного пути на новый Крестовский мост-путепровод. Сейчас транспортный поток с бывшей Первой Мещанской после последнего светофора у Рижского вокзала быстро выскакивает на широкую, просторную магистраль, ведущую в район знаменитой Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). А тогда, в тридцатые годы, конец Первой Мещанской у Крестовской заставы был и концом города. Дальше за железнодорожными путями Октябрьской дороги начиналась совсем непохожая на Москву ее дальняя северная окраина. Трамваи, автомобили, ломовые и легковые извозчики, долго дожидавшиеся своей очереди, пропуская встречный транспорт, медленно и осторожно, чтобы не задеть друг друга, ехали-ползли по узкому, дугообразному мосту мимо Пятницкого кладбища, рядом с ним, выезжая у Дробильного завода на узкое, выложенное булыжником Ярославское шоссе. А трамваи еще более медленно, раскачиваясь на рельсах, как на волнах, двигались справа от шоссе. Быстро им ехать по этим рельсовым качелям было нельзя. Вагоны часто сходили с рельсов. И тогда по всей трамвайной линии, вплоть до Сухаревской площади, вагоны выстраивались в очередь в долгом ожидании, пока аварийная бригада с помощью домкратов и рычагов не ставила вагон на рельсы. В этих случаях пассажирам проще и быстрее было добраться до нужного места пешком. Вот и мне приходилось часто зимними вечерами, после уроков, добираться до дома пешком. Мама, конечно, волновалась. Но я с пути никогда не сбивался.

Ярославское шоссе и Закрестовскую окраину начала тридцатых годов я запомнил с той весенней поездки на Суконную улицу, где был построен для нас и для девушек-работниц фабрики имени Ногина двухэтажный восьмиквартирный щитовой дом без коммунальных услуг.

По правую и левую сторону Ярославского шоссе, от Дробильного завода и до Ростокино, тянулись в ряд деревянные одно– и двухэтажные дома. В некоторых из них, как и на всякой выездной городской окраине, были торговые лавки, кузни, шорные и другие ремонтные мастерские для конно-гужевого транспорта, отправляющегося в далекий и недалекий загородный путь. А за домами тянулись огороды. Сразу за нашей остановкой – «Суконная улица» – слева от шоссе и вовсе простирались поля совхоза имени И. В. Сталина с рядами кочанной и цветной капусты, свеклы и брюквы.

Суконная улица, на которой теперь нам предстояло поселиться, оказалась совсем недлинной. На ней по разные стороны стояли по 5–6 бревенчатых домов, с сиреневыми палисадниками, с заборами-частоколами, с воротами, калитками и огородиками внутри дворов. В некоторых дворах в сараях мычали коровы, а в каждом из них кудахтали куры и орали петухи. Улица была не мощеная, а потому в сырую погоду – непроходимая. В этом я сразу убедился, оставив в вязкой грязи свои новые калоши, когда мы переходили на другую сторону. Тротуары обозначались канавками, по которым вниз по улице стекала черная и вонючая вода со двора фабрики, именем которой наша улица и называлась. Но оказалось, что фабрика эта вовсе была не суконной. Может быть, раньше она и была таковой, но теперь на ней обрабатывались и красились меха – кроличьи, а может быть даже кошачьи и собачьи. Справа, посередине улицы, между домами высились высокие ворота Ярославского колхоз-

ного рынка. Совсем недавно, еще до нашего переселения, сюда переехали мелкие торговцы, жулики и воры со знаменитого Сухаревского рынка.

В конце Суконной улицы тогда стояла огромная лужа, невысыхающая даже в жаркое лето. Вода в ней была вонючая и черная от стекающего сюда с фабричного двора ручья. На берегу этой лужи, отражаясь в ней, возвышался отдельно стоящий дом в полтора этажа. Наверное, когда-то этот дом был красивым, с мансардой и башенками. Но теперь он был какой-то ободранный, с заплатами на крыше и облупившейся штукатуркой. Этот дом принадлежал известной здесь семье Власовых, с младшими членами которой я вскоре познакомился. А в день первого приезда сюда я увидел их на плоту посередине грязно-черной лужи. А дальше, за лужей, стояли дома-новостройки и штабеля бревен и досок для тех, которые еще не были построены. Огромный пустырь за лужей осваивался в начале тридцатых годов переселенцами из разных областей, краев и республик России.

Стандартными одно– и двухэтажными домами, преимущественно барачного типа, в это время застраивалось все пространство с концов коротких улиц, спускающихся от Ярославского шоссе к пустырям, до Сокольнического леса. Вдоль его опушки в два ряда, образуя улицу, которая теперь называется именем Павла Корчагина, а тогда – Мазутным проездом, выстроились наиболее благоустроенные, хотя тоже деревянно-щитовые дома городка «Метростроя». В этих домах жили семьи инженерно-технического персонала строителей Московского метро. В городке были предусмотрены особые удобства для этих особых жителей. Специально для них на Ярославской железной дороге была построена платформа, которая сначала называлась «Пятая верста», а потом была переименована в «Маленковскую». Инженеры и техники – метростроевцы и члены их семей – на электричках могли быстро с этой платформы попасть в Москву, прямо к строящейся на вокзальной площади станции метро «Комсомольская» и расположенным рядом с ней станциям «Сокольники», «Красносельская», «Красныеворота», «Кировская».

В метростроевском городке был клуб, различные бытовые мастерские, промтоварный и продуктовый магазины с большим ассортиментом гастрономических, бакалейных, кондитерских, мясных и овощных продуктов. Сначала, во времена продкарточек, он был закрыт для посторонней публики. Но с отменой карточек их магазин могли посещать все.

Метростроевский городок, сохраняя свое название, простоял до начала пятидесятых годов. В эти годы сюда пришла новая цивилизация. Вместо деревянных двухэтажек вдоль Мазутного проезда параллельно железной дороге встали десятиэтажные благоустроенные дома, в которые вселились ответственные работники солидных ответственных государственных и партийных учреждений. Но скоро из-за постоянного шума проходящих железнодорожных составов эта категория населения потихоньку перекочевала в еще более благоустроенные районы.

Наш пустырь от метростроевского городка отделял безымянный ручей, который начинался с заболоченных когда-то концов Старой и Новой Алексеевских улиц и, петляя по овражку, впадал в речушку Копытовка, которая сама была притоком Яузы. Когда-то и ручеек, и речушка были чистыми и не вонючими. Но уже в середине тридцатых их погубили отходы банно-прачечных, мыловаренных и мехообрабатывающих окрестных производств. Со временем они исчезли – строители, преобразователи природы, заключили их в коллектор. Теперь они несут свои мыльные воды невидимыми путями. Не только названия, но и самое их существование жителями окрестных улиц и кварталов давно забыто. Я же до сих пор помню их незатемненные струи и чистые зеленые луговые берега, на которых со своими товарищами мы собирали щавель и другие съедобные стебли, как когда-то на нашем деревенском лугу. По левому берегу безымянного ручейка уже к нашему приезду были выстроены бараки для рабочих-строителей будущего орденоносного «Мосжилстроя». В них жила публика непритязательная из недалеких и далеких сельских мест, занятая на строй-

ках Москвы в непрестижных профессиях землекопов, грабарей, штукатуров, плотников. А совсем близко к нашим домам располагались вместе с конюшнями и парком специального транспорта обозные ассенизаторы треста «Мосочистка». Их еще называли «золотариками». Со стороны этого конно-гужевого парка всегда тянуло соответствующими запахами. Но не только ими отличались от прочих эти дворы. Среди возчиков были парни, которые своей удалью наводили страх на окрестное население. Драку эти молодцы могли учинить без причины, просто после выпивок. Но чаще всего они возникали на почве соперничества вблизи девичьих общежитий. Немало таких удальцов было и среди молодежи городка «Мосжилстрой». У них был свой вождь-предводитель. Кличка у него была сказочная и страшная – Аржак. Можно сказать, что вся территория городка была подчинена его воле и молодецкой силе. Авторитет Аржака передавался и всей подростковой и ребячьей молодежи городка. Его территория была суверенна и неприступна для посторонних. Но и за ее пределами люди старались избегать встреч с шумными ватагами подвыпивших парней. А через некоторое время я увидел этого человека в нашей Мало-Марьинской бане, он работал там парикмахером и выглядел совсем нестрашным, а скорее симпатичным парнем.

Территория жилых барачных городков «Мосжилстроя» и «Мостресточистки» отделялась от территории наших неорганизованных таких же барачных строений естественной границей – валом-насыпью по трассе старого Мытищинского водопровода. На этом валу летними вечерами собиралась на гулянье молодежь. Случались и драки.

Всю окрестную территорию места нашего будущего проживания я, конечно, изучил после того, как мы переехали сюда с Третьей Мещанской. А в первый день приезда знакомство состоялось только с Суконной улицей, когда мы благополучно обошли огромную черную лужу и подошли к нашему новому дому. У него уже был номер 26. Около дома стояли штабеля лесо– и пиломатериалов. Тут я увидел своих будущих друзей – Павлика и Мишу Кутковых. Они качались на доске, положенной поперек бревен. На меня они не обратили внимания. Познакомился я с ними позже. Мы торопились в свою комнату. Дом наш был только что построен, но уже полностью заселен. Пустовала только наша комната в квартире номер семь во втором подъезде, на втором этаже. Дверь нам открыла наша соседка Клавдия Петровна Матросова, в замужестве Казарцева. Встретила она нас дружелюбно. Мне и Маме Клавдя, как она себя назвала, понравилась. Совсем недавняя деревенская девушка, из деревни Мышенское Михневского района, она уже была ударницей в мотальном цеху на чулочной фабрике имени Ногина. Рыжеволосая, с короткой прической, с живыми и смелыми серо-голубыми глазами, с крупноватым, не портившим в молодости ее симпатичного лица, носом, с располагающей к дружбе улыбкой, она возникла перед нами в открытой двери и громко и уверенно приветливо заговорила с нами, приглашая войти в кухню. В квартире было чисто. А в комнате ее царил девичий уют. Железная койка была заправлена чистым тканевым одеялом, из-под которого свисал кружевной подзор. А в изголовье возвышались две взбитые подушки в чистых наволочках.

После осмотра своей комнаты мы были приглашены Клавдией к чаю. Меня она угостила песочным пирожным, а Маму чаем с деревенским вареньем и дружелюбным разговором. Так началось наше совместное проживание в одной квартире со знатной ударницей, а потом стахановкой Клавдией Петровной Казарцевой. Мы прожили с ней, а затем и с ее семьей вместе почти до самой войны без конфликтов и ссор, с одной стороны, благодаря мудрости моей Мамы, а с другой – открытости, честности, отходчивости и добропорядочности характера нашей соседки.

После первого знакомства с новым жилищем мы стали ездить за Крестовскую заставу почти каждый день. Началась работа по переоборудованию комнаты по нашему вкусу. Врезались замки, приводились в порядок окна, обклеивались обоями стены. Электричества в нашем доме и в других тогда не было. Пришлось покупать уже почти забытую после деревни

керосиновую лампу. Вся эта работа завершилась мытьем полов. И вдруг во время этого занятия в дверях нашей комнаты появился незнакомый мужчина. Это был наш сосед снизу, Анатолий Михайлович Сахаров. Не сказал бы, что он чем-то возмущался, но на лице его все-таки было выражение досады и раздражения. Оказывается, от маминого мытья полов у него промок потолок. Такова была конструкция нашего дома. Она не предусматривала никакой гидроизоляции. Случившееся могло бы стать причиной конфликта и в этот, и в другие разы при мытье полов. Но на этот раз извинения Анатолием Михайловичем были приняты. А Мама обязалась впредь быть осторожней. С тех пор и с семьей Сахаровых установились у нас нормальные, мирные и дружественные отношения. Должен еще раз отметить, что на соседей нам всегда везло. Часть жизни нашей семьи в Москве прошла в общих квартирах с хозяевами, и за это время не случилось ни одного конфликта. Не помню я конфликтов и с соседями по дому на новом месте жительства, и с соседями по загородному нашему дому в поселке «Дружба» под Москвой, куда семья переехала в 1939 году. Везло нам на соседей везде. Всегда они были хорошими. Но только теперь я понимаю, что главной причиной мирного и дружелюбного соседства была добропорядочность моих родителей. Это нейтрализовало возникающие, бывало, соседские экстремизм и амбиции и давало добрый пример взаимного уважения и мудрой уступчивости даже тем, кто на первых порах обнаруживал какую-то агрессивность характера. Этому также способствовали и стали примером мир и взаимопонимание в нашей семье. Родители мои, однако, достоинства своего никогда не теряли и поступали сообразно собственным взглядам и принципам, независимо от всяческих пересудов.

Итак, весной 1933 года семья наша оказалась в полном сборе. Возвратились из Тверской области и из Ойротии старший и средний братья, где они отработали практику на строительстве дорог после окончания Автодорожного техникума. Все мы были очень рады щедрому подарку руководства фабрики имени Ногина. Здесь, на этом еще необжитом и неблагоустроенном месте, нам предстояло прожить немало лет до того, как возникли новые возможности в улучшении наших жилищных условий. Все эти годы рядом с нами жили и наши соседи – семейные и незамужние, еще молодые и веселые работницы с чулочной фабрики. Через год фабрика построила еще два дома. Но они оказались на некотором отдалении от первых двух, можно сказать, на другой улице – Маломосковской. Отличались новые постройки только тем, что и внутри и снаружи они были отштукатурены и более приспособлены к зимним холодам. Туда нас и переселили, чтобы сделать то же с первыми двумя домами. А адрес наш все же сохранился по Суконной улице, только номер стал 26/4.

Все четыре наших фабричных общежитейских дома, как и все другие вокруг нас, простояли до начала шестидесятых годов, хотя рассчитаны они были на десять лет максимум. В них не было водопровода и канализации. В некоторых до самого последнего дня туалеты были общими и находились на улице. Наши же отличались тем, что в каждой квартире имелись туалетные чуланы. Зато под окнами постоянно «благовонили» выгребные ямы. Отопление было печное. А электричество в наши дома провели только в 1935 году.

Хорошо помню, как сначала построили каменную трансформаторную будку, как в траншее укладывали толстый кабель, как против наших домов, в их створе установили столб, и электромонтер с помощью «кошек» поднимался на него к ввинченным на его вершине фарфоровым изоляторам и натягивал блестящие медные провода. Скоро в наших домах засветились электрические лампочки. На нашем столе появилась настольная лампа с зеленым стеклянным абажуром, под потолком повисла люстра из разноцветных стеклянных трубочек. Эти атрибуты довоенной электрификации сохранялись в нашей комнате многие годы до самого последнего дня, пока цел был сам дом. Вместе с электричеством в наши окраинные стандартные дома за Крестовской заставой пришла новая цивилизация. Вчераш-

ние деревенские жители, поселившиеся в этих домах, в качестве сезонных рабочих выходили на светлую, залитую огнями электричества городскую московскую улицу жизни.

Я собственными глазами видел это превращение и сам испытывал на себе эту перемену вместе с моими родителями, братьями и сестрой. То же самое происходило и в жизни наших соседей.

Помимо девушек-работниц в этих фабричных домах, кроме нашей, проживали еще четыре семьи. С главою одной из них мы познакомились в тот день, когда Мама занялась мытьем полов. Я уже называл его имя. Это был Анатолий Михайлович Сахаров. На фабрике Ногина он работал помощником мастера. В его внешности в день знакомства меня удивила какая-то немужская манерность в голосе и мимике лица. Он как-то жеманно высказывал тогда свое возмущение по поводу случившейся непреднамеренной оплошности моей Мамы. В раздражении речь свою он сопровождал картинными жестами рук с тонкими длинными и бледными пальцами. Он заламывал их, а они хрустели. Дядя Толя мне тогда не понравился. Он показался мне человеком несимпатичным. А с дочерьми его, Тамарой и Галей, у нас с самых первых дней знакомства установилась дружба, которая никогда не прерывалась, если не считать коротких, на день-два, размолвок по пустякам. Мы дружили во дворе, учились в одной школе, жили и вырастали в коллективной среде нашего тогдашнего общежития. А мать этих девочек и жена Анатолия Михайловича – тетя Шура (Александра Васильевна) была женщиной спокойного нрава, симпатичной внешности и дружелюбной по отношению ко всем соседям. В условиях женского общежития она никогда не участвовала в каких-либо сговорах, сплетнях и тем более конфликтах. Работала она секретарем-машинисткой на Меховой фабрике, а затем на Меховом комбинате, построенном вместо этой маленькой примитивной фабрики на окраине Москвы, в Ростокине. Видимо, должность машинистки при начальстве обязывала ее уделять внимание своей внешности. Тетя Шура всегда была аккуратно причесана, небогато, но всегда прилично одета. Хозяйством дома она не занималась. Оно было на попечении Анатолия Михайловича. Не случайно, наверное, наше первое знакомство состоялось по поводу обычной коммунальной неурядицы, на почве которых обычно сталкиваются женщины-хозяйки. Не случайно, наверное, и то, что Анатолий Михайлович удивил нас не совсем мужским поведением. Все хозяйкины заботы в семье лежали на нем – и посещение магазинов, и приготовление обеда, и забота о девочках, и даже стирка с мытьем полов. Эти занятия его не унижали. Семья жила дружно. В Москве они поселились, как и мы, недавно. До этого Сахаровы жили у себя на родине, в подмосковном промышленном селе неподалеку от станции Конобеево Рязанской железной дороги. Дядя Толя и там работал помощником мастера на ткацкой фабрике. Его и тети Шурины родственники – подмосковные крестьяне-ткачи – по праздникам приезжали в гости. В эти дни в комнате под нами было шумно и весело. В 1942 году летом, когда я со своим полком в эшелоне уезжал из Москвы по Рязанской железной дороге на фронт, через открытую дверь вагона вдруг увидел промелькнувшее на быстром ходу название станции «Конобеево» и вспомнил рассказы моих подруг, сестер Сахаровых, об их деревне, о родственниках, приезжавших к ним в гости с ягодами черники и гонобобеля и другими деревенскими гостинцами. От них и мне перепадало полакомиться. Вспомнились мне картины нашего детства, наш дружный немногочисленный ребячий двор. Мальчиков в нем было четверо, а девочек – две. С искренним сожалением и грустью я вспомнил и то, что нет уже прежней дружной семьи Сахаровых. Неожиданно для всех обитателей нашего дома, года за два до войны, вдруг ни с того ни с сего дядя Толя и тетя Шура развелись. Оказалось, что и у того, и у другой давно уже возникли новые увлечения, которые, в конечном итоге, привели к тихому и безвозвратному разводу. Анатолий Михайлович оставил семью первым. А Александра Васильевна вскоре после этого получила комнату от Мехового комбината в новом благоустроенном доме, в городе Бабушкине. Некоторое

время около нее обретался какой-то мужчина. Но новой семьи у нее не получилось. Осталась она одна, с двумя дочерьми. А Анатолий Михайлович, рассказывали, кого-то успел родить.

Очень нас всех удивил этот, как нам казалось, нелепый развод взрослых людей, со взрослыми уже дочерьми и разрушение, как нам тоже казалось, прочно сложившейся семьи. Осудить этот поступок было невозможно. Все сожалели, сочувствовали и не верили, что это надолго. Однако судьба лишь на короткое время соединила эту семью.

В первые дни войны Анатолий Михайлович Сахаров записался добровольцем в Народное ополчение и был отправлен на фронт в район Смоленска. Там осенью сорок первого их часть попала в окружение. Но плена дяде Толе удалось избежать. Он вышел из окружения и нежданно-негаданно, на короткое время, объявился в своей старой семье к великой радости дочерей. В один из дней той погожей осени сорок первого я увидел его в кругу вновь обретенной семьи, услышал его рассказ об окружении. Он уже не казался мне тогда кухонным мужчиной, каким представлялся в первую встречу. Это был уже настоящий артиллерист-зенитчик. Вскоре он снова ушел на фронт. И там же, под Смоленском, опять попал в плен. Из плена он бежал и, до освобождения Красной Армией, прижился у вдовы-крестьянки в одной из деревень. В свою семью он больше не вернулся, а прислал всего два письма. В последнем он писал, что снова уже воюет. Обо всем этом я вспомнил, увидев мелькнувшее перед моими глазами название станции Конобеево, на которой мне в жизни больше никогда не пришлось останавливаться.

С тех пор фронтовые и жизненные дороги уж никогда не сводили меня вместе с моими школьными и дворовыми подругами. После войны было несколько редких и непродолжительных встреч и телефонных звонков. Жизнь развела нас в разные стороны, и в суете повседневной потух огонек нашей детской дружбы. А жаль!

*** * ***

Рядом с нашей квартирой на нашем же этаже жила другая семья. Знакомство с одним из ее членов тоже произошло в день смотрин нового жилища. На крылечке нашего подъезда, в санках (а снега уже не было, хотя и было прохладно) сидела, закутанная в какие-то старые одежды, девочка двух-трех лет. Лицо у нее было прозрачно-бледное и грустное. Наверное, она давно уже сидела в одиночестве, и это ей, по-видимому, было привычно. Может быть, девочка просто замерзла. Нам показалось, что она вот-вот заплачет. Но вдруг, увидев нас, она улыбнулась милой и грустной улыбкой. Маме моей стало ее жалко. Она нагнулась к ней и спросила, как ее зовут. «Мара» – прошелестели ее тонкие, посиневшие от холода губки. Это была Мара Френкель, дочь наших соседей из восьмой квартиры. Встревожившись, как бы девочка не простудилась, Мама постучала в дверь соседей. Открыла дверь большая, деревенского вида, уже немолодая женщина. Потом мы узнали, что ее зовут просто Еленой. Она была домработницей у наших соседей, и девочка Мара была на ее попечении. Тревоги моей Мамы она не разделила, сказав, что так велели родители, что, мол, девочка уже привыкла каждый день таким образом гулять на улице. И все-таки маминому совету она вняла и спустилась вниз, чтобы, наконец, забрать девочку домой. Помнится мне, что на следующий день Мара заболела, а ее мама, Ида Сауловна Френкель, моя будущая учительница в новой школе, обратилась к нам с просьбой одолжить молока для заболевшего ребенка. Так мы и познакомились.

Соседи из восьмой квартиры жили в нашем доме пять лет. Ида Сауловна была моей учительницей в третьем классе. Она быстро подружилась с моей Мамой и общалась с ней запросто. А для Мары Мама стала бабушкой. Она так и называла ее. Бестолковая, но очень добрая домработница Елена беспрекословно выполняла все рекомендации и указания Мамы, касающиеся ухода за девочкой. Да и Ида Сауловна очень часто нуждалась в ее мудрых

житейских советах. Сама она была хозяйкой неопытной, кулинарным искусством не владела. Но очень часто рассказывала о своих родителях и особенно о своей маме, о вкусных блюдах, которые она готовила на еврейскую Пасху. Жили ее родители в незнакомом мне городе Борисове в Белоруссии. Она вспоминала об этом, когда моя Мама угощала ее русским куличом, пасхой и пирогами. Когда нянька Елена вдруг по какой-то причине отказалась служить у Френкелей, некоторое время родители Мары оставляли ее на попечение нашей Маме.

А вот с главой семьи Френкелей мы за все годы соседства так и остались незнакомы. Знали мы, что имя его было Роман. Ида Сауловна называла его Ромкой. Он был человеком необщительным, ходил в полувоенной одежде, в суконной гимнастерке под ремень, в брюках галифе и в сапогах. Вид у него был строгий. Волосы на голове носил «политзачесом» и производил впечатление человека, очень занятого и будто бы озабоченного важным и ответственным делом. Когда его не было дома, я приходил к Иде Сауловне, чтобы поиграть с Марой. У них было очень много книг. Сочинения классиков рядами стояли в специальных книжных шкафах. Но брать их в руки не разрешалось. Таково было указание хозяина. А мне было интересно. Однажды я все-таки взял одну книгу. Это был «Князь Серебряный». Нечаянно я надорвал суперобложку и этим напугал Иду Сауловну. Тогда я узнал, что и сама она боится своего Ромку. А потом мне стало казаться, что она его не любила. Какая судьба свела этих двух людей? На этот вопрос, возникавший не только у меня, так и не нашлось ответа. Книжку с надорванной суперобложкой она тщательно спрятала в шкаф. Хозяин ущерба не заметил, может быть, потому, что книжку эту он сам так ни разу и не взял в руки. Я не видел, чтобы он когда-либо читал книги.

В 1938 году Френкели получили квартиру в доме, построенном для ударников легкой промышленности на Октябрьской улице. Какое отношение Роман Френкель имел к ударникам-стахановцам, для нас тоже осталось неизвестным. Но мы радовались за соседей без зависти. Некоторое время наша дружба с Идой Сауловной и Марой продолжалась. Несколько раз я бывал у них с Мамой. И тогда мне хозяин показался даже приветливым и разговорчивым. После войны мне захотелось навестить мою учительницу и посмотреть на ее дочку Мару. Какой она стала, став взрослой девушкой? Я помнил их квартиру. Однажды, проходя случайно по Октябрьской улице, я увидел знакомый дом. Зашел. Поднялся на нужный этаж. Долго нажимал кнопку. Звонок звонил, но дверь никто не открывал. Открылась соседняя, и соседка спросила, кто мне нужен. Я сказал. Она же, пожав плечами, поведала, что Ида Сауловна и ее муж давно умерли, а Мара на работе.

Скоро я стал студентом Московского университета. На нашем курсе училась девушка по фамилии Френкель. А звали ее Мариной. Знакомство с ней дало мне повод вспомнить еще раз своих добрых соседей.

* * *

На первом этаже в первом подъезде нашего дома в маленькой девятиметровой комнате раньше нас поселилась семья Кутковых. Двух младших Кутковых, братьев Павлика и Мишу, я заприметил еще в первый день знакомства с новым местом жительства. Они качались на доске, положенной поперек деревянных брусьев. Подкидывали друг друга они довольно высоко, и я позавидовал их удовольствию, выражаемому громким визгом. Особенно пронзительно взвизгивал младший – Мишка. А старший, Павлик, показался мне похожим на одного нашего деревенского мальчишку по кличке Таратуха. Очень мне было удивительно это неожиданное сходство.

Познакомились мы очень просто и быстро. И сразу подружились. Ребята эти тоже совсем недавно приехали с родителями в Москву и оказались сродни мне по деревенскому духу. Оказалось даже, что мы были земляками из Центральной черноземной области.

Правда, потом это землячество оказалось не таким близким. Они приехали откуда-то из-под Белгорода, а мы – из-под Мценска. Да и фамилия у них была, вроде бы, украинская, хотя новые наши соседи таковыми себя не считали, а писались русскими. В речи же их, однако, достаточно выразительно звучали малороссийские слова и интонации. Да если бы они и были украинцами, то это никак не предопределило каких-либо особенностей в наших взаимоотношениях. Это в нынешнее время люди начали так активно и усердно разграничиваться по национальной принадлежности, и в свидетельствах о рождении, и в паспортах, и границами новоявленных государств, раскроившими великое, веками складывавшееся единое Российское государство. А усердие получилось не по разуму. И простаиваем мы теперь у шлагбаумов, на таможнях, в ОВИРах, в посольствах и консульствах, чтобы увидеться с родными и близкими, оказать друг другу помощь, наладить деловые связи, предотвратить последствия разгула природной стихии и дикого рынка и непредсказуемых глупостей навязчивых идей националистических и экстремистских политиков. Стоят теперь простые люди-труженики, всю жизнь прожившие вместе, перед воздвигнутыми пограничными заграждениями, чешут затылки, потылицы и иные места и понять не могут, для чего все это сделано. Однажды я спросил горемыку-украинца, правдами и неправдами пробравшегося со своими скудным ассортиментом скоропортящихся продуктов на Московский привокзальный грязный базар через пограничные кордоны и таможни: «А скажить, дядько, будь ласка, як же це все зробилось?» А он мне в ответ: «Та хиба я можу знаты? У нас ничого не спыталы, нам ничого не сказали». А я вспомнил украинскую пословицу: «Бачилы очи, що купувалы. Тепер иште, хочь повылазьте!»

А что бы сказал, глядя на нашу теперешнюю «дружбу русского и украинского народов», дядя Сеня Кутковой, отец моих друзей из далеких советских тридцатых годов?

Родители моих тогдашних друзей – Семен Федорович и Дарья Семеновна Кутковые – были людьми бедными, как и большинство обитателей нашего фабричного общежития. Но они имели больше оснований ждать от советской власти лучшей доли, чем другие. Дело в том, что бывший красноармеец, крестьянин-бедняк Семен Федорович Кутковой участвовал в Гражданской войне, штурмовал Перекоп и был в польском походе. Заслугами, однако, он не был отмечен. Зато отмечен был шальной белогвардейской пулей в плечо, навылет. По окончании войны был демобилизован с сохранением годности к воинской службе. По возрасту дядя Сеня был ровесником моей Маме, оба с 1893 года. А в начале тридцатых годов, будучи уже за сорок, он часто воспоминал романтику суровых военных лет. Под кроватью в его маленькой комнате хранился до последних дней жизни его красноармейский сундучок, с которым он прошагал в пехоте почти до Варшавы.

Однажды в 1934 году дядю Сеню призвали на краткосрочную военную переподготовку. И он извлек тот сундучок из-под кровати, уложил в него указанные в воинском предписании смену белья, бритву, старый солдатский ремень, полотенце, две пары портянок и снова отправился с ним из дома в военкомат, а потом в воинскую часть. Я вместе с его сыновьями провожал резервиста до трамвая. А потом мы узнали, что воинская часть, в которую попал наш герой, стоит лагерем в Сокольниках. И мы пошли туда, ведь это было совсем недалеко от нашего дома. Дядя Сеня очень обрадовался, увидев нас. Мы что-то принесли ему от тети Даши. А он завел нас в большую красноармейскую палатку. Я впервые увидел тогда армейский порядок, выстроенные в два ряда койки, заправленные серыми суконными одеялами, с белыми подголовниками-простынями и на них искусно взбитые, в белых наволочках, подушки с сеном. Рядом с палаткой стояла пирамида с настоящими винтовками. И тут же, на специальной подставке, стоял станковый пулемет системы «Максим». Тогда же я впервые услышал солдатскую походную песню, которую через несколько лет и сам пел, помогая ногам своим шагать по солдатской дороге. А тогда с занятий подходила соседняя рота. Красноармейцы пели:

Я пулеметчиком родился,
В команде с «Максимом» возрос.

Дядя Сеня покорил меня тогда своим бравым, подтянутым видом и веселым настроением. Мне показалось, что он с удовольствием возвратился в армейский распорядок жизни. Наверное, это было так. Потому что она хоть на короткое время освободила его от повседневных забот, от повседневных задач и трудных семейных будней. Ни о чем не надо было думать. Тут тебя и накормят, и напоят по установленной норме, и на сон, и на подъем команду дадут, и жизнью твоей распорядятся. В гражданской жизни Семен Федорович был сапожником. Он был хорошим сапожником и мог шить щегольские хромовые сапоги. Но почему-то работал этот хороший мастер в обычной сапожной мастерской под общей вывеской «Москоопремонт». С его сыновьями я бывал в этой мастерской на Ново-Останкинской улице. Но дядя Сеня работал и на дому. Для нашей семьи во все годы соседства с ним не было лучшего мастера, чем он. Но в прозе повседневной сапожной жизни этот человек, оказывается, способен был мечтать о большем. Однажды я узнал, что дядя Сеня пишет стихи.

Как-то летним днем в поисках моих друзей я заглянул в открытое окно комнаты Кутковых. Ребят там не было, а дядя Сеня сидел за столом с каким-то старичком-евреем и что-то читал ему из тетрадки, которую я видел в его солдатском сундучке. На меня собеседники не обратили внимания, и я услышал, что наш сапожник читает стихи про две розы. Конечно, теперь я не помню рифмы и размеров этого стихотворения, но помню их содержание. Одна роза, скромная и грустная, росла под открытым небом, а другая – в прекрасном питомнике. Одна обдувалась жестокими ветрами, поливалась ливнями или, наоборот, страдала от жажды. А другая холилась руками садовника, укрытая от жестокой непогоды, и была необычайно красива. Но первой, тяжелой доле ее и сиротской красоте, дядя Сеня, поэт, отдавал все свои лучшие человеческие чувства сострадания и восхищения. Красоту же второй, изнеженной, надменной и недоступной простому чувству, он, однако, не хулил, но, по доброму сердцу своему, выражал свое сочувствие, как созданной только для забавы, для короткого удовольствия бесчувственных и недобрых людей. Автор читал проникновенно, с чувством. Сейчас я и сам не могу представить, почему мне запомнился этот эпизод. Но я его не мог выдумать. Я помню даже, что в стихотворении все время повторялись слова: «Две розы росли…» Было чему удивиться! Много времени спустя я понял, что своей поэтической аллегорией дядя Сеня изливал собеседнику свою душу, свою сокровенную тайну красивой любви. Но это, к сожалению, я понял потом. А тогда я только удивился и ничего не понял. Старичок что-то ему говорил, а потом взял у него тетрадку и что-то ему пообещал. Сумел я, правда, тогда понять, что дядя Сеня был не Пушкин. А вот того, что он был не простой сапожник, я оценить не смог. Мне не под силу и не по разуму было соединить его серую прозу жизни с тонкими поэтическими аллегориями, с переживаниями чувства красивой любви.

А жена Семена Федоровича – Дарья Семеновна, никак не вписывалась в лирические образы его аллегорий, никак им не соответствовала. Глядя на нее, трудно было представить и понять, что соединило этих двух разных людей – красивого, стройного, да еще с поэтической душой, красноармейца с некрасивой и с лица, и по фигуре, да еще, честно говоря, глуповатой женщиной. Она была коротконога, вислозада, с заметно удлиненным туловищем. А лицо у нее было большое и круглое, и как будто вдавленное вовнутрь. В речи ее всегда наблюдался недостаток слов. Тетя Даша была больше украинкой, чем дядя Сеня. Поэтому, может быть, и не хватало ей нужных русских слов. Выйдет, бывало, в обеденный час на крыльцо и громко начинает звать своих сыновей: «Миша, Павлик, идите шамать!» Книг и газет, конечно, Дарья Семеновна не читала. Они ей были не нужны, так как грамоте она не

обучалась. Работала она на фабрике и работницей была примерной. Поэтому-то и одарила ее дирекция комнатой в девять квадратных метров на четверых. Кроме кровати, стола и сундука, на котором спали сыновья, другого имущества у Кутковых не было. Зато над кроватью висел прекрасный гобелен – образец ремесленного художественного творчества, приобретенный на развале Ярославского колхозного рынка. На нем были изображены озеро с лебедем, по берегам – диковинные пальмы, а на необыкновенном ложе, в беседке, возлежала пышнотелая, дебелая брюнетка.

В целом, как принято у нас заключать в отчетных характеристиках, семья Кутковых была дружной и прочной. Хлеб насущный добывался честным и тяжелым трудом. Излишков не было ни в еде, ни в одежде. Дороже ливерной колбасы на столе у них ничего не было. Сейчас ведь никто не поверит, что сей продукт был определен для бедных людей. Бывало, что на второе здесь ели арбуз с черным хлебом. Арбузы тогда тоже были к осени дешевыми. Не отказывали себе наши соседи в картофеле и капусте и во всяческих мясных субпродуктах. В наше, теперешнее время эта пища вдруг превратилась в деликатесы богатеев-бизнесменов, а тогда она была показателем бедности. Семен Федорович и Дарья Семеновна прожили всю жизнь в мире и согласии и претензий друг к другу никогда не предъявляли. Жили и работали, как могли, но всегда честно. В самом начале войны после простуды заболел туберкулезом их старший сын и мой товарищ Павлик. Катался он однажды, в начале апреля 1941 года, на льдине в одной из больших луж в старых песчаных карьерах и упал в воду. День был холодный, а вода ледяная. Павлик простудился. Простуда быстро развилась в воспаление легких. Чахотка оказалась скоротечной. К осени того же сорок первого он умер. А старики с младшим сыном Мишей пережили войну. Второму сыну на войне быть не пришлось. Он тоже был болен туберкулезом. Но его болезнь врачам удалось остановить. После войны я застал всю семью в живых. Мне довелось соседствовать со старыми друзьями до начала шестидесятых годов, до тех пор пока дом наш по Суконной улице, 26/4 продолжал стоять на своем месте.

В конце пятидесятых Семен Федорович скоропостижно скончался. И пришлось мне после этого ходить в сапожную мастерскую к незнакомым мастерам-алкоголикам. Я был на похоронах дяди Сени на Пятницком кладбище. Там тогда еще сохранялась могила его старшего сына Павлика. В ней они и встретились.

Миша в это время уже с родителями не жил. На похоронах мы повидались, а потом потеряли друг друга из вида.

А тетя Даша вдруг оказалась способной на неожиданное. После смерти мужа, уже будучи в преклонном возрасте, она вдруг явилась в нашем дворе в образе вульгарно модной, старой, но молодящейся женщины. Наверное, это было не от ума. Жалко и обидно было на нее смотреть. А она не могла понять, что это смешно. Помочь ей было невозможно. При расселении нашего дома перед сносом она выбрала себе квартиру где-то в районе улицы Якиманки. Как-то однажды вдруг я увидел ее на троллейбусной остановке в Охотном ряду. Она была в необыкновенной соломенной шляпе с лентой, с бантом на шее и с очень неразумным выражением во взгляде. Мы столкнулись с ней лицом к лицу. Она меня не узнала или сделала вид, что не узнала.

Как мне известно, семейная жизнь младшего Куткового – Михаила Семеновича, не дала продолжения его роду. На том он и кончился. И память героического прошлого участника штурма Перекопа, его высокого искусства сапожного мастера, его поэтических мечтаний, его трудолюбие и дружелюбное отношение к людям унаследовать и сохранить оказалось некому.

* * *

По мере заселения наших фабричных домов-новостроек складывался наш дворовый детский коллектив (и не только детский) и происходили новые знакомства. Очень скоро на штабелях стройматериалов, на самодельных качелях из досок нас уже стало шестеро – две сестры Сахаровы, два брата Кутковых, я и новый чернявый мальчик – Федя Тимофеев, наш ровесник. Он с родителями вселился во второй дом, который стоял напротив нашего. Его отец и мать тоже работали на фабрике. Главой семьи была Александра Васильевна Тимофеева. А муж ее – Иван Федорович – в семье занимал заметно подчиненное место.

И с этой семьей судьба свела нас на долгие годы соседства, пока не развела окончательно новая застройка нашего барачного жилого массива. Однако теперь, вспоминая ее, я вдруг обнаружил, что многое из жизни этой семьи мне осталось неизвестным, неясным и даже загадочным. Во-первых, и я и мои товарищи так и не узнали, откуда приехал в Москву наш новый друг. Мы, конечно, не спрашивали его об этом. Но и он сам никогда не хвалился, в отличие от нас, своими рассказами о родных местах и бывших друзьях. Мать Федьки Тимофеева, тетя Шура (Александра Васильевна) производила впечатление женщины бывалой. На руке ее мы сразу заметили наколку – татуировку из двух букв, обозначавших ее имя и фамилию. Было ей за тридцать, наверное, даже около сорока. Она курила. В те времена в нашей жизни курящие женщины встречались не так часто, как сейчас. И папироса в зубах, как правило, свидетельствовала либо об их принадлежности к кругу эмансипированных интеллигенток или аристократок бывшего дореволюционного общества, либо наводила на мысль о причастности к бывалым людям. Но скажу прямо, на эмансипированную интеллигентку, а тем более на аристократку тетя Шура не походила. С другой стороны, у меня не было никаких поводов для каких-либо криминальных подозрений. Но курила она свою папиросу совсем не по-женски, без всякого жеманства, по-мужски загоняя ее залихватски в угол рта. Разговаривала хриплым, прокуренным голосом, тяжело откашливаясь. А речь ее интонацией и лексикой намекала на возможную причастность к южнороссийскому базару. Внешностью она была похожа то ли на армянку, то ли на еврейку, а то просто на цыганку. Скорее всего, она была все-таки русской женщиной, откуда-нибудь из-под Ростова, а может быть, Донбасса, из-под Херсона или даже из Одессы. На фабрике она недолго проработала у станка. Ее бывалость и боевитость были замечены дирекцией или профкомом. И скоро она стала комендантом нашего общежития. А все мы, проживающие в нем, оказались в некоторой зависимости от ее воли. Не скажу, что тетя Шура злоупотребляла своим положением. Обязанность блюсти порядок в молодежном, девичьем общежитии заставляла ее предъявлять всем общеустановленные требования, которые, однако, никого не тяготили. В руках у коменданта был и другой символ власти – Домовая книга и процедура прописки. Но и этим она не злоупотребляла, как это, например, позволяет себе наш нынешний начальник РЭУ, бывший депутат районного Совета Бабаев. Тогда и Домовая книга, и процедура прописки составляли одну из мелких функций государства диктатуры пролетариата. О сдаче в аренду сараев, чердаков и подвалов никто не помышлял. Теперь же все это стало составной частью рыночных отношений и нашему Бабаю приносит большой куш. Он не стесняется сдавать в частную аренду государственные подвалы и ездить на двух автомобилях. Тетя Шура, наш комендант, в годы сталинских пятилеток и подумать даже не могла о том, что Домовая книга помогла бы ей поднять уровень ее материального благосостояния. И все же ее возвышение на комендантский пьедестал давало ей какие-то преимущества в виде первоочередности получения месткомовских и директорских льгот, за которые ей поручалось доглядывать за квартирантами и информировать по соответствующей линии.

Наверное, моя Мама это чувствовала и в откровенные беседы с тетей Шурой не вступала, на дружбу не рассчитывала и никаких поводов к конфликтам старалась не подавать. Муж тети Шуры Иван Федорович был из бывших австро-венгерских военнопленных Первой мировой войны. О нем я, кажется, знаю все, кроме двух обстоятельств: был ли он Федькиным отцом и какая его была фамилия до брака с женой? Эти вопросы для меня остались без ответа. С сыном своим он был не похож, и отцовских чувств ему никогда не выказывал. Да и сам наш дружок Федя к отцу никогда не ластился и гостинцев от него не получал. Однако первый называл другого сыном, а тот его – отцом. Может быть, я зря строю всякие догадки? Ведь не обязаны все отцы быть похожими на моего! В остальном Иван Федорович был, что называется, проще хлеба. Не хотел бы его обижать, но мне всегда, и в детстве, и во время послевоенных встреч с ним он казался человеком примитивным, ни о каких идеалах не мечтал и претензий на какое-то достоинство никогда не заявлял. Родом он был из какого-то закарпатского села. Молодым крестьянином был призван в солдаты в начале Первой мировой и сразу, как только оказался на русском фронте, сдался в плен. Сделал он это исходя не из каких-либо побуждений славянского братства или идей пацифизма. Он сам говорил, что поступил так, чтобы сохранить себе жизнь. Для этого он вынес все тяготы плена. В свою закарпатскую деревню Яблоневку бывший солдат уже не вернулся. Ему, с его невысокими потребностями в жизни, было все равно, где добывать себе самое малое и необходимое. Физически бывший крестьянин и солдат был здоров, необыкновенно силен и мог делать любую непрестижную работу. Как и многие военнопленные, он всю войну работал батраком в русских крестьянских хозяйствах. Как он в конце концов оказался в городе, где его свела судьба с тетей Шурой и что их связало вместе, я не знаю. Не замечал я никогда какой-либо лирики и тонких чувств в их взаимоотношениях. Но и не помню, чтобы они когда-нибудь были недовольны друг другом. В еде и одежде Иван Федорович был неприхотлив и обижаться на жену у него не было никаких поводов. На фабрике имени Ногина он работал разнорабочим и до войны, и после нее. С соседями дружбы не водил, но от партии в домино не отказывался. В этой игре он был гроссмейстером и мог лучше всех стучать костяшками по столу. Иногда мне приходилось играть с ним в паре (когда не хватало взрослого партнера), и дядя Ваня суровыми словами квалифицировал мои неверные ходы. Шутить он не умел, и если кто-нибудь позволял себе какую-либо шутку, он без всякой жалости отвешивал крепкого подзатыльника, а то и пинка. Общественной пользы от дяди Вани было немного. Солидарности он не проявлял ни к кому, но и вреда никому тоже не делал.

Когда началась война, Иван Федорович сразу же добровольцем вступил в Народное ополчение. Но в этом поступке, как оказалось много лет спустя, никаких благородных и патриотических побуждений не было. Очень скоро его ополченскую дивизию направили на фронт, откуда тетя Шура не получила ни одного письма. Иван Федорович просто после первого боя пропал без вести. Так ей сообщили в военкомате. Все-таки тревожилось сердце у нее! Но и слез опять же не было, как и при расставании.

А мой одногодок, сын Тимофеевых Федька, тоже ушел на фронт и также добровольцем. С ним случилось то же, что и с отцом. Он пропал без вести. А после войны, кажется в 1946 году, домой явились друг за другом и сын и отец. Иван Федорович таиться не стал. Он простодушно рассказал, что сразу, в первом бою, где-то под Вязьмой он сдался в плен. А я, помня историю его плена в 1915 году, сразу понял, что дядя Ваня повторил проверенный ход. Все четыре года он был в плену у фашистов и опять остался живым. Но из второго плена он пришел уже нездоровым. На этот раз не только лиха оказалось больше. Он рассказывал о нечеловеческих условиях не только в лагере, но и в хлеву, у богатого немецкого крестьянина, куда он был определен в качестве раба. Еду ему и всем военнопленным-бедолагам богатый хозяин варил в том же котле, из которого она подавалась свиньям. Это от него я услышал рассказ о том, что люди в таких условиях сами превращались в скотов и таковыми

сами себя ощущали. Дядя Ваня, как он сам вспоминал свою рабскую жизнь, однажды не узнал себя в зеркале не только потому, что был очень худ, а потому, что на лице его вырос вместо жесткой вороненой мужской щетины какой-то пух. Когда он про это рассказывал, я впервые увидел в нем человека, наконец осознавшего жестокое надругательство над его человеческим достоинством. Если в начале войны мой герой отправился на фронт отнюдь не из намерения воевать, бороться с фашизмом, то после плена, пережив жестокое, бессердечное отношение обыкновенных офашизированных немцев-крестьян, он стал убежденным антифашистом. Глаза его горели ненавистью. Но, увы, освободил он себя от скотства не сам. И отомстить за обиду уже не мог. Войны-то уже не было. Сил и здоровья уже тоже не стало. Повторить все сначала было нельзя. Оставалось тихо доживать, довольствуясь маленькой пенсией от советского государства.

А сын его Федя после войны тоже явился домой нежданным. Сколько я ни пытался пооткровенничать с ним о его военных дорогах, разговор все как-то не получался. Друг детства уклонялся от прямых вопросов, да и меня ни о чем не спрашивал. Поперек лба его обозначился глубокий шрам, но и об этом у него не было охоты рассказывать. Так и осталась для меня загадкой Федина военная история. Своими предположениями, а их могло бы быть много, обижать его не буду. Бог ему судья. Мы сохранили с ним добрые воспоминания о детстве и постарались, пока еще жили вместе по старому довоенному адресу, сохранить добрые отношения соседей. Федя стал рабочим-печатником на полиграфическом комбинате «Госзнак» имени Молотова. Печатал там тома Большой и Малой Советских Энциклопедий и других уникальных изданий. Он стал даже ударником коммунистического труда и гордился этим. Потом мы разъехались, и все загадки стали забываться, также как и годы нашего детства. Однажды я вдруг увидел его в метро. Он ехал туда, а я обратно. Оба спешили. Он узнал, что я похоронил своих родителей, и что, как и он, тоже выполнил свой долг. Сообщили друг другу, что пока здоровы, работаем, и разошлись, не оставив друг другу новых своих адресов.

* * *

Осталось рассказать еще об одной семье, поселившейся в девичьем фабричном общежитии с первых дней его заселения. Она жила в доме напротив нашего, в комнате на втором этаже, буквально окно в окно с нашей. Для знакомства с этой семьей у меня тогда не было никаких поводов. В ее составе моих сверстников не было, но и со взрослыми обитателями нашего общежития члены этой семьи знакомиться не торопились – они были староверами. Я впервые услышал это слово «староверы», но что оно обозначало, конечно, не знал. Кто-то, как мне показалось, просто обозвал так старика и старуху Трофимовых, родителей трех взрослых детей – сына Виктора и дочерей Дуси и Тони.

Скоро я по-своему понял, почему так «обозвали» стариков. Однажды одна из девушек-работниц фабрики, жившая со своими двумя подругами в маленькой комнате маленькой трофимовской квартиры, пригласила меня к себе, чтобы угостить конфеткой. Чем-то я ей тогда понравился. Я вошел с ней на кухню. В это время дверь в комнату Трофимовых была приоткрыта. И пока моя новая знакомая доставала ключ от своей двери, я успел разглядеть часть комнаты ее соседей. В левом углу над изголовьем кровати стариков, на высокой подставке стояла большая икона. А может это был даже комнатный иконостас. Перед иконой светилась лампада. Помню еще, что на полу под окном стоял в большом горшке огромный фикус. Вот тогда я и решил, что старые люди, муж и жена Трофимовы, еще верят в Бога, и поэтому их назвали староверами.

Имена и отчества этих необыкновенных людей я просто не помню: не знал я их тогда, не удалось узнать и потом. Они как-то не располагали к знакомству не только нас ребятишек, но и взрослых людей. Все называли их стариками Трофимовыми, хотя, как мне кажется

теперь, они вовсе еще не были стариками. Таковыми их сделал суровый и упрямый закон старого обряда. Глава семьи был бородат. Кроме бороды и сурового взгляда на лице Трофимова-отца я ничего не запомнил. Я и мои друзья побаивались его укоряющего взгляда, когда он молчаливо проходил мимо нас. Вниманием своим он никого не удостаивал и в разговор, без крайней надобности, ни с кем не вступал. Под стать старику была и старуха. Лицом рябоватая и необыкновенно строгая. С ней иногда приходилось вступать в конфликты. Она сурово выговаривала нам за наши шалости. Мы не любили ее и боялись. А бородатого и сурового старика мы, кстати сказать, не боялись – он нам был любопытен. А старуху боялись, и зря, так как и муж ее, и она ни нам – детям, ни взрослым обитателям ничего плохого не делали, кроме справедливых замечаний, которые мы были неспособны понять. Сами они жили строгой и честной жизнью по старой своей вере. В ней старики удерживали и своих детей. Внешне они, конечно, не обнаруживали своей приверженности к вере и не отличались от современной молодежи. Пожалуй, только старшая из них, Евдокия становилась понемногу очень похожей на свою мать строгостью лица своего и пристальным взглядом таких же, как у родительницы, глаз. Но если та уже никогда не улыбалась, Дуська не отказывала себе в удовольствии быть веселой и улыбчивой. На девичьих вечеринках она не отличалась от подруг.

Вторым из детей Трофимовых был сын Виктор. Он в те годы учился в каком-то техникуме. Мне он запомнился в клетчатой ковбойке на велосипеде с гоночным рулем. Кроме этого, он хорошо играл в волейбол и вообще имел вид спортсмена. Ни у кого из нас велосипеда тогда еще не было, и мы с завистью смотрели на завораживающий гоночный руль и любовались ловкой фигурой велосипедиста в ковбойке. Нам очень хотелось подружиться с Виктором. Когда он чистил или чинил свой велосипед, мы помогали ему. Но, увы, благодарности и внимания в награду не получали. Кумиром нашим поэтому Виктор не стал.

Младшей в семье Трофимовых была Тоня. В ней староверческого уже ничего нельзя было заметить. Она была общительна с подругами, соревновалась с ними в модном покрое платьев и юбок, соперничала в увлечениях ухажерами. Мне удивительно было спустя много лет увидеть ее похожей на свою мать, неразговорчивой и угрюмой женщиной. Может быть, это явилось результатом несчастливой доли вдовы с двумя сыновьями.

Вся семья Трофимовых была связана с фабрикой имени Ногина. Работали на ней родители. Туда же пошли работать и дочери. Только Виктору представилась возможность учиться в техникуме. Впрочем, и Тоне удалось, спустя некоторое время, закончить курсы медсестер.

Родители Трофимовы умерли, когда шла война. Их сын на фронт не попал. Рассказывали, что он вдруг заболел. Болел долго и безнадежно и уже после войны умер, не оставив наследников. А сестрам война уготовила долю вдов. Насколько я знаю, ни Дуськины, ни Тонькины (пусть не обидятся на меня мои бывшие соседки за старое общежитейское звучание их имен) сыновья не только не унаследовали и не сохранили законов и традиций старой веры, но так и не сумели узнать, что это такое. Они выросли в обычных дворовых хулиганов, а потом закономерно превратились в безнадежных алкашей. Деньги на пьяные развлечения они не всегда добывали «трудом своим». Говорили, что с Тонькиным Славкой опасно было встретиться темной ночью даже обитателям наших домов. Про Дуськиного сына я теперь ничего не знаю. А Тонькиным Бог не дал долгой жизни: так обычно говорят православные люди в подобных случаях. Но настоящая причина такого обрыва человеческого рода не в Божьей немилости, а в тяжести вдовьей доли матерей и сиротской обездоленности их детей в суровое лихолетье войны и в такие же полуголодные первые послевоенные годы. Оба сына Антонины Трофимовой даже вырасти в настоящих мужчин не смогли. Не познавши добра, они сами доброго совершить не сумели.

* * *

Чуть не забыл я еще одну очень тихую и незаметную семью в нашем доме, поселившуюся в общежитии одновременно с нами. Она состояла из двух человек – мужа и жены Добрицыных. Главу семьи, кажется, звали Ароном Яковлевичем. А имя его жены теперь никак не вспомню. Кажется, звали ее Галиной. Муж работал тоже помощником мастера на нашей фабрике, а супруга – в каком-то учреждении то ли бухгалтером, то ли канцеляристкой, то ли машинисткой. Очень скромная была пара. Жили они от нас через стенку. Были тогда, в начале тридцатых, еще молодоженами. Ходили всегда парой, под ручку. Жили молодожены тихой скромной жизнью и очень были внимательны друг к другу.

В 1932 году у них родился сынок. Тогда еще поблизости от нас родильного дома не было. Не было и телефонов-автоматов. А роды, как ни ожидал, как ни готовился к ним Арон Яковлевич, начались внезапно. Моя Мама к этому времени среди общежитейского населения имела популярность повивальной бабки. Ночью Арон Добрицын постучался к нам в дверь. Был он растерян и испуган. Мама все поняла без слов и отправилась принимать роды. На ее руках издал свои первые звуки еврейский мальчик Феликс.

После войны я увидел Феликса уже взрослым студентом Финансового института. А родители его, как мне показалось, так и не изменились с тех пор. Арон Яковлевич молодым, по-моему, никогда не был. Он запомнился мне в каком-то постоянном средневозрастном состоянии. И Галя долго не старела. По-прежнему они ходили парой, под ручку. И по-прежнему все силы своей родительской души и скромные результаты труда своего отдавали сыну. А он вырос у них румянощеким, хорошо вскормленным эгоистом. Может быть, я несправедлив к нему, но не нравился мне этот молодой человек, потому что не видел я в его поведении достойного уважения к родителям. Мне казалось, что он стеснялся их бедности. Меня он узнавал или делал вид, что узнает. А отец его, Арон Яковлевич, очень искренне обрадовался, увидев меня, вернувшегося с войны, живым, и каждый раз при встрече приветствовал дружеской улыбкой. Он очень искренне уважал моих родителей. Поэтому и я не забыл о нем и о его тихой и скромной жизни.

* * *

Основную часть населения нашего общежития составляли молодые незамужние девушки, недавно приехавшие в Москву из разных мест, в большинстве из деревень. Всех их звали «моталками». Общее это прозвище было связано с назначением машины, на которой они работали. Профессию чулочниц они все начинали с простой операции на мотальной машине, перематывающей нить на бабины. Поэтому за ними и закрепилась такая, не очень благозвучная коллективная кличка.

По разным причинам уезжали в конце двадцатых – начале тридцатых годов из крестьянских хат, изб и домов эти девушки от родительского тепла и ласки и поселялись на неласковых железных койках, в наскоро собранных бараках на далеких и необжитых окраинах Москвы. Большинство из них уходили из деревень от нужды в многодетных семьях за лучшей долей с надеждой найти свою судьбу. Не все они сразу устраивались на фабрики, заводы или на стройку. Многие по протекции своих односельчан или родственников, ранее освоившихся в городах, устраивались в качестве прислуги в городские семьи. Нужда в них тогда была большая. Они нанимались не только в зажиточные семьи. Чаще их нанимали в семьи отнюдь не обеспеченных горожан по причине того, что молодым родителям не на кого было оставить малолетних детей. Все члены таких семей были заняты на работе. В няньках особенно нуждались молодые семьи, в бюджетах которых едва-едва сводились

концы с концами. Молодые инженеры, работники различных учреждений, а порою и просто рабочие и работницы фабрик и заводов, только что начавшие самостоятельную семейную жизнь, вынуждены были из своей тощей заработной платы тратить деньги на няньку, как только у них появлялись дети. Я видел такие семьи. Их было много в наших окрестностях, в наших деревянных фабричных и заводских новостройках. Убегая от нужды, а порой просто от голодной жизни, деревенские девушки, оказавшиеся няньками в таких семьях, испытывали вместе со своими хозяевами не меньшую нужду и лишения. Зарплату они получали мизерную. А иногда работали только за еду на одном с хозяевами скудном столе, да за их обещания устроить бедолагу по прошествии некоторого времени на свой завод, фабрику или в учреждение, в уборщицы, с условием, что она будет продолжать ухаживать за их ребенком в так называемое нерабочее время. По этой дорожке в городскую жизнь пришли наши левыкинские Парани, Нюшки, Соньки и Маньки. Такой же дорогой приходили на московские фабрики и заводы девушки из других деревень в годы героических трудовых пятилеток строительства социализма.

Но были среди этих ударниц-чулочниц и такие, которые совсем недавно жили в достатке и в довольствии, под зажиточным родительским кровом в тех же селах и деревнях и не думали, что вдруг все резко переменится и судьба заставит их приспосабливаться к неожиданным переменам. Это были девушки из раскулаченных и репрессированных семей. Как правило, они не рассказывали о своем прошлом. Но их можно было угадать по некоторым признакам недавнего достатка – по более высокой образованности, по нет-нет да проявляющейся амбициозности поведения, а иногда и наоборот – по тихому, скромному поведению пришибленных трагической судьбой сирот, лишившихся своих родителей. А у некоторых сохранялись еще кое-какие предметы недавней «роскоши» в одежде и украшениях, которые им удалось чудом сохранить от конфискации. И все же только спустя много лет некоторые их этих экспроприированных сирот, уже в преклонном возрасте, своими уже не таящимися воспоминаниями подтвердили то, что так долго скрывалось от подруг, соседок по койкам. Только совсем недавно, например, я услышал рассказ одной нашей бывшей любвеобильной красавицы и стахановки Вали Богатыревой. Оказалось, что ее богатые родители были купеческого сословия. Она вспоминала свое детство и безмятежную юность. В доме ее родителей была прислуга, собственный тарантас и прекрасная пара лошадей. Гордая независимость этой девушки, уменье всегда выглядеть опрятной и даже модной и, конечно, красивой обнаруживали в ней непростую породу. А с другой стороны, удивляла ее житейская сметливость, трудолюбие и уменье правильно распорядиться результатами своего труда. В числе первых Валя Богатырева стала ударницей и стахановкой. Плохо работать она не умела. Нрава она была веселого. Я говорю была, а она-то еще и сейчас жива, хотя и не очень здорова. Иногда, когда я бываю на старом месте жительства, у младшего сына, на месте некогда стоявших там наших общежитейских домов, я вижу бывшую красавицу на балконе ее комнаты на пятом этаже, в которой она живет с такой же, как и она, престарелой фабричной подругой. С пятого этажа Валя уже несколько лет вниз не спускается – ноги не позволяют. А улыбка еще не стерлась с ее лица. Она всегда узнает меня. Ведь мы знакомы с ней с самых моих малых лет. Родных у Вали нет. Живет она, как и всегда, на свои скромные пенсионные рубли. В молодости она была веселой и любвеобильной девушкой. Ухажеров у нее было много. Но замуж красавицу никто не взял. В войну свела ее жизнь с женатым тыловым майором, которого она взяла на свое полное обеспечение. Майор свое денежное содержание перечислял своей семье, а жил на Валькиных харчах. Сначала жена его боролась с соперницей. Случались откровенные, прилюдные сцены. Но Валя своей единственной отрады не уступала. А когда вдруг сердцееда и ловеласа отставного майора Гошку свалил инфаркт, а затем и инсульт, законная жена оставила все свои претензии. Однажды летом в начале шестидесятых Гошка умер. Так он и остался в моей памяти Гошкой, потому что ни отчества, ни фамилии его никто

не знал. А Валя осталась одна. Судьба подарила ей долгую жизнь и одиночество в самое неуютное, дикое время. Но свет не без добрых людей, соседи носят ей из магазина необходимые продукты, которых ей много теперь и не надо.

* * *

Различия в происхождении девичьего населения нашего фабричного общежития никоим образом не отражались на взаимоотношениях между людьми. Никакой классовой борьбы на протяжении многих лет в наших бараках не возникало. Была между девушками единственная причина соперничества – за женихов и ухажеров. В остальном девушки жили в обстановке социального равенства в примитивных условиях фабрично-заводского общежития. В двухкомнатных квартирах поселялось по девять девушек: в большой девятнадцатиметровой комнате стояло шесть железных коек, а в маленьких, девятиметровых, по три. Кроме койки, каждой девушке полагалась еще и тумбочка, и на всех в комнатах было по одному обеденному столу. В квартире была еще и кухня с плитой. Печь-голландка обогревала обе комнаты. Дрова на всех хранились в дровяном сарае, где на каждую квартиру выделялся отсек. Водопровода и канализации в домах не было до самого их сноса в 1960 году.

В комнатах у девушек под кроватями стояли чемоданы, сундучки с бельем и другими женскими принадлежностями. А верхняя одежда – платья, пальто, плащи – висела над кроватями на плечиках, обернутая простынями, а иногда газетами. В этих примитивных условиях девушки жили, в основном, мирно и даже дружно. Не было случаев краж и каких-либо претензий, касающихся их личной собственности. Ссоры возникали из-за ухажеров и иногда на кухне. Соперничество из-за женихов иногда затягивалось надолго, а кухонные разногласия были мимолетными. Работали девушки в три разные смены. Поэтому перенаселенность в квартирах все время разряжалась. Третья часть населения комнат всегда была на работе. Одна смена всегда отдыхала. А бодрствующая, готовясь к своей рабочей вахте, старалась не мешать отдыхающим подругам. Но летом этот режим, конечно, нарушался общими гуляньями на улице, порой до рассвета. Жизнь в наших домах была веселая и молодая. Фабричное руководство и местком регулярно организовывали для девушек массовые культурно-просветительные мероприятия, художественную самодеятельность и спортивные соревнования. Около наших домов была устроена волейбольная площадка. По вечерам девушки со своими ухажерами играли в волейбол, а с наступлением темноты заводились танцы. Иногда с этих танцев плясуньи отправлялись прямо на фабрику в ночную смену. По выходным дням под окнами наших домов играл самодеятельный духовой оркестр, который более чем наполовину состоял тоже из девушек. Мужчины играли только на тяжелых басовых трубах да на большом барабане и тарелках. Одну музыкантшу я запомнил. Она играла на альте и жила в доме напротив нашего в квартире, где проживала в малой комнате семья нашей комендантши. Звали альтистку, кажется, Шурой, а фамилия ее была Данилина. Альтовая труба ее висела на стене, над кроватью. Хозяйка позволяла нам поиграть на ней. Мы дули в трубу всласть, извлекая совсем не мелодичные звуки, будили ими отдыхающую смену и в конце концов изгонялись из комнаты. Но и в другой раз Шура продолжала баловать нас. Вообще она любила с нами, ребятишками, возиться. Мы уважали ее за это, а она была для нас большим авторитетом, так как ее искусство музыканта оставалось для нас недосягаемым. Может быть, она научила бы нас выдувать сносные звуки, но вышла замуж и уехала. Так мы музыкантами и не стали.

А на медных тарелках в оркестре брякал Ваня Фомин – муж Нюры Фоминой, нашей, между прочим, землячки из деревни Каменка, недалеко от нашего Левыкино. Нюра до поступления на фабрику жила и работала в прислугах у своего деревенского соседа-выдвиженца Якова Кондратьевича Митина. Он-то, будучи в то время председателем месткома, и

устроил ее на фабрику и в общежитие. По протекции земляка – месткомовского начальника Нюру поселили, в отличие от других, в маленькой комнате на двоих. А потом, с согласия соседки, у нее появился то ли мужем, то ли простым сожителем странный мужичок – Ваня. У него, наверное, была своя фамилия, но ее никто не знал, и стал он поэтому Фоминым. Сложно было его называть мужем Нюры. Сама она была уже далеко не в возрасте невесты и, очевидно, другого выбора у нее не было, поэтому и приютила около себя этого Ваню, доброго и, по всеобщему признанию, чуть-чуть дурковатого. На фабрике он работал уборщиком по цеху и играл на тарелках в оркестре. Нас же, немногочисленных детей, он привлекал тем, что играл с нами в лото и брал по праздникам на демонстрацию. Наши родители отпускали нас с ним. В праздничные дни – на Первое мая или Седьмое ноября – мы отправлялись с Ваней в Марьину рощу на фабрику и оттуда, вслед за оркестром, ребячьей шеренгой шли в фабричной колонне до самой Красной площади. А оттуда Ваня Фомин приводил нас домой.

По выходным дням, летом, с утра и до вечера фабричный оркестр играл около наших домов танцевальную музыку, песни и марши, привлекая на массовые гулянья население и наших, и других окрестных домов. А фабричная столовая тут же разворачивала буфет с бутербродами, пирожными, пирожками, пивом и ситро. Кругом было весело. Молодежь играла в волейбол, в городки. Вспоминались здесь и различные деревенские игры – горелки, ручеек, лапта, стенки. Девушки наши знакомились с парнями из мужских барачных городков. С этих знакомств начиналась любовь, которая приводила к разным результатам. Иногда девушки соперничали между собой из-за женихов. Но чаще было наоборот – соперничали женихи и очень часто в драках. Драки, обычно по вечерам, а то и темной ночью, были шумными, иногда пьяными с мордобоем до крови, но, как говорится, без тяжких последствий. Больше всех свое право на наших девушек заявляли здоровые парни с соседнего конного двора – молодые извозчики. От них здорово доставалось парням из коренного населения Алексеевских улиц. Синяков им, бывало, припечатывалось предостаточно. За этими драками как-то не замечалась тихая любовь. Появлялись семьи, а в них дети. Девичьи комнаты стали перегораживаться занавесками из простыней, ширмами, а потом перегородками. А иногда любовь кончалась обычной драмой – расставанием, после которого оставались дети без отцов, а их матери без мужей. Однажды у нас забеременела девушка по имени Граня, жившая в большой угловой комнате на первом этаже первого подъезда нашего дома. Разудалой головой была эта девушка. У нее было мало шансов построить свое счастье. Была она очень некрасива, коротконога, с мужским сильным торсом, на котором торчала большая голова яйцом. У нее был необыкновенно большой нос, неровное лицо с большими глазами навыкате. Но при всем при этом она была молода, здорова, весела и очень жизнелюбива. Своей некрасоты она не замечала и доступностью своей успешно завлекала соседей, ломовых извозчиков. И наконец Гранька забеременела. У нее очень быстро вырос огромный живот, от которого фигура ее стала еще более непропорциональной. Скоро она родила тройню. Событие это оказалось нерядовым не только в нашем общежитии, на нашей фабрике и в наших жениховских окрестностях, но и в масштабе города: оно было описано в хронике московских газет. Молодая работница-стахановка с Чулочной фабрики Ногина Граня родила тройню! Тут же ей выделили квартиру в новом благоустроенном доме на Октябрьской улице. Медицинские сестры и врачи наблюдали за близнецами, такими же носатенькими, как и их мама. Для них на месткомовские деньги была нанята прислуга. Мы все были очень рады за нашу Граньку, гордились ею. А некоторые ее подруги-сверстницы даже завидовали ей. Мне очень не хочется продолжать свой рассказ об этой истории, ибо до сих пор я с сожалением вспоминаю о разочаровавшем нас ее завершении. Близнецы тогда очень скоро, один за другим, умерли. А Гранька осталась при квартире и, говорили, недолго плакала по своим деткам. Всякое про ту историю тогда говорили. Больше Граньке Бог деток не дал.

* * *

Когда после войны я возвратился в наш фабричный дом на Суконной улице, состав его населения был уже иным. Просто девичьих комнат уже не было. Они были заселены семьями. Некоторые из них были мне незнакомы. Но среди них оставались еще семьи Кутковых, Трофимовых, Тимофеевых, Добрицыных. Без мужей, не вернувшихся с войны, воспитывали детей бывшие наши девушки-стахановки: Леля и Настя Иванцовы, Нюра Кириллова (Есаулова). Они еще продолжали работать на фабрике. А к счастливой Кате Антоновой с войны, хотя и без руки, но с орденом Красной Звезды, возвратился буянистый драчун, ее муж Филя. Она уже успела родить от него сына Володю. По причине инвалидности Филя не работал, но пить продолжал еще больше, чем в довоенную пору. В подпитии по-прежнему часто буянил. Но Кате он теперь с одной рукой был не страшен. Она быстро приводила его в порядок. Видимо, чувствовала Катя, что жить ее израненному Филе осталось недолго и потому не лишала его привычного и единственно доступного удовольствия – выпить и опохмелиться. В годы войны она работала уборщицей в магазине и не только выжила сама, но и вырастила дочь, да и еще сумела деньжонок заработать немало. Рассказывали, что всю войну бывшая чулочница приторговывала водкой и другим дефицитным товаром. Эту коммерческую деятельность Катя продолжала и после войны и была известна в наших окрестных домах всем, страждущим в тяжелом похмелье. Она отпускала зелье в разбавленном и приправленным табачком виде (для крепости) за деньги и в залог. Случалось, что ее клиенты уходили от нее без часов, без пальто, а иногда и приносили кое-что из дома. Ставшая известной ее подозрительная репутация нисколько не смущала Катю. Она продолжала свой промысел на чужой беде и не заметила, как подросший ее сын Володя превратился в пьяницу и хулигана. Дважды он отбывал срок, а из последнего домой так и не вернулся. Прибили его где-то за Уралом дружки-собутыльники. Сама Катя умерла, так и не узнав места, где кто-то закопал в землю ее сына. В день похорон я пришел проводить ее в последний путь. Она много лет была нашей соседкой, и ни у меня, ни у моих покойных родителей не было оснований упрекнуть Катю в недобрых намерениях. А она всегда с добрыми чувствами вспоминала мою Маму, которая в ее сиротской фабричной молодости не отказывала ей в участии и совете. Жизнь свою Катя прожила, как могла. Других вариантов, чтобы выжить, у нее не было. Память о ней хранят дочь и две внучки. Говорят, что теперь появились и правнучки.

* * *

А у Нюры Есауловой ее Ваня с войны не пришел. Он даже не успел с фронта прислать ей ни одного письма. И где он погиб, где его могила, Нюра так и не знает. И все же эта неграмотная, одинокая женщина не дала умереть от голода и холода двум своим малолетним детям, которых они с Ваней произвели на свет Божий накануне войны. Люба родилась раньше на год, а Валерка – когда отец его уже ушел на фронт. Для этой незащищенной семьи тяжелые испытания начались сразу, как началась война. Детей Нюра отвезла в деревню, к сестре, в Тульскую область. А в сорок втором, после освобождения деревни от немцев, она привезла их оттуда полуживых. Как ей хватило сил это сделать и как удалось вернуть детей к жизни, она сама рассказать не могла. Слов для этого она не знала. «Просто, – рассказывала она, – поехала и привезла». А дома, в Москве, не было ни дров, ни пищи. Спекулировать было нечем. Работала на фабрике всю войну. Тем и выжила. А как выжила – рассказать тоже не могла. Просто работала. Получала карточку. А потом война кончилась. И опять работала. А дети, наконец, выросли сами, как могли устроились в жизни. Теперь у Нюры пятеро внуков. Ей уже скоро, наверное, будет девяносто. На улицу она уже не выходит. Иногда я вижу

ее, как и Валю Богатыреву, на балконе. И зрение, и память ей тоже пока не изменяют. Мы с ней всю жизнь были добрыми соседями.

* * *

А в нашей квартире в маленькой комнате всю войну жили две фабричные подруги – Мария Васильевна Шакулевская и Анна Самойловна Закурская. О них у меня особые воспоминания.

Мария Васильевна (все ее звали просто Марусей) тогда, в начале тридцатых, была старше своих соседок по общежитию. У ней была другая судьба. Много трудного и трагического ей уже пришлось пережить до того, как она поступила на фабрику и получила койку в общежитии. Когда она родилась, ей самой точно было неизвестно. В паспорте год ее рождения был записан 1898-м. Она говорила, что один или два года ей пришлось прибавить к своему возрасту, чтобы быть принятой на работу. Родилась Мария Васильевна в Польше, в предместье Варшавы Праге. И была она полькой. И по-польски она была вовсе не Васильевной, а Валеевной и фамилия ее была изначально не Шакулевская. Однажды, находясь в командировке в Варшаве, я решил поискать ее родственников или хотя бы однофамильцев. В огромной книге телефонных абонентов я не нашел ни одного с такой фамилией. Встречалось много Сакульских, но не нашлось ни одного Шакулевского. Я рассказал об этом Марии Васильевне по возвращении в Москву, и она согласилась с моим предположением, что, возможно, ее фамилия и была Сакульская. Видимо, когда она, волею судьбы, оказалась в России, какому-то писарю оказалось удобнее записать ее Шакулевской. А ей тогда было все равно – «хоть горшком назови». Первая мировая война безжалостно вырвала ее из дома, лишила родных и близких, обрекла на суровые испытания. Начались скитания в потоке беженцев в 1915 году в связи с большим немецким наступлением и оккупацией Польши. Случилось так, что четырнадцатилетняя девочка сразу и навсегда потеряла свой дом, своих родителей и всех родственников. Теперь приходится гадать, как ей удалось выжить, преодолеть отчаяние и лишения, которым с тех пор не было конца. Мария Васильевна рассказывала о том, как ее вместе с другими беженцами заставляли рыть окопы для обороняющихся русских войск, о скудном пайке, который она получала за тяжелую работу, об опухших своих ногах в осеннюю слякоть и холод, о холодных сараях-бараках, в которых люди не жили, а ночевали, о болезнях и смертях и все-таки о добрых людях, не жалевших куска хлеба, тепла и своего сочувствия несчастным мученикам войны. Случалось, что на следующий день они сами оказывались в этом потоке горя и лишений, но сегодня они делились, чем могли. Рассказывала Мария Васильевна и о том, как однажды она должна была умереть, заболев тяжелой простудой. Но, где-то под местечком Негорелое, ее приютила крестьянская семья и отогрела, спасла от смерти, выходила девочку к следующей военной весне. И здесь произошло чудо! Тут же, около Негорелого, случайно она встретила свою родную тетку – сестру отца, которая жила в этих местах еще с довоенных времен. Она прожила у тетки до тех пор, пока новые вихри судьбы не закружили ее в новом страшном водовороте революции и Гражданской войны. В семнадцать лет судьба свела ее с таким же молодым парнем, как и она. Может быть, на год-два он был постарше ее. Был он сильным, здоровым и добрым рабочим человеком и влюбился в сироту. Да недолго грело их счастье. Парень-то был еще и революционером. Призвала его революция на борьбу за счастье трудового народа. Рассказывала Мария Васильевна, что мужа ее назначили комиссаром. Память ее не сохранила подробностей скитаний по фронтам. Она ушла на Гражданскую войну вместе с мужем и была определена швеей в походную швейную мастерскую. В железнодорожных вагонах она и отступала, впереди мужа, под натиском белых и наступала вслед за ним на деникинском и врангелевском фронтах в 1919–1920 годах. В ее рассказах упоминались стоянки на железнодорожных колесах

под Харьковом, на станциях Лозовая и Синельниково, в Екатеринославе и Мелитополе. А когда, бывало, она слушала песню про Каховку, то заливалась горькими слезами. Здесь оборвалось ее счастье. Муж ее, комиссар Красной Армии, в этих местах попал в плен и был расстрелян белогвардейцами. А уже после гибели мужа родила она сына. Вместе с младенцем довоевывала она в походной швейной мастерской Гражданскую, а после снова вернулась к родной тетке в Негорелое, да не одна, а с сыном.

Теперь надо было думать не только о себе. Жизнь вдовы расстрелянного комиссара была теперь подчинена заботам о сыне: как накормить его, одеть, обуть и вырастить человеком. На первых порах помогла тетка, она дала обоим приют и тепло своего небогатого дома. Да и потом добрая женщина не обидела племянницу. Она взяла на себя заботы по уходу за ребенком, а Мария искала и находила себе всякую мелкую работу. Пригодился опыт, приобретенный в воинской швейной мастерской. Ходила по домам, шила, перешивала, ремонтировала. Заработанного только-только хватало на еду. И решили они с теткой, наконец, что надо Марии уходить в большой город и там искать работу. Мальчика тетка оставила у себя.

Какое-то время перебивалась молодая женщина у знакомых своей тетки, земляков из Польши в Минске. Но удачи в этом городе не было, и с их рекомендацией отправилась Мария в Москву. Здесь, на Брестской улице, она нашла еврейскую семью, которая приняла ее к себе в домработницы за ночлег, еду и одежду из своих обносков. По рассказам Марии Васильевны, ее хозяева, сами недавно обосновавшиеся в Москве, жили до Первой мировой где-то в белорусско-польском местечке и занимались мелкой торговлей. В нэповской Москве они тоже сумели организовать мелкое торговое дело и выглядели достаточно обеспеченной семьей. Землячку свою они приняли по-доброму и по прошествии некоторого времени даже устроили на работу в какую-то кондитерскую фабрику. За ночлег и стол Мария Васильевна выполняла всю домашнюю работу у хозяев, а на остальное, главным образом на помощь сыну, она зарабатывала на фабрике. Мария Васильевна долго помнила доброту и участливое отношение к себе своих еврейских земляков-хозяев. Она даже говорила, что чувствовала себя в их квартире, на кухне членом общей семьи. Кто-то из сыновей хозяев даже пытался ухаживать за молодой и симпатичной Марией. На деникинском и врангелевском фронтах Гражданской войны жена комиссара-болыпевика Мария Шакулевская в походной швейной мастерской научилась нехитрому мастерству латать и штопать израненное и изорванное красноармейское обмундирование. А в нэповской Москве, в еврейской семье, вдова расстрелянного белогвардейцами комиссара научилась отстирывать до иссиня-белой чистоты постельное белье и скатерти, крахмалить их до упругого, прохладного хруста. И еще в это время она познала все тонкости и секреты еврейско-польской кухни. Это прачечно-кулинарное искусство она через много лет передала в наследство моей жене. Я вспоминаю об этом всегда в дни больших стирок и по праздникам, накануне которых моя жена печет, варит, жарит и особенно готовит фаршированную рыбу.

Жизненная школа Марии Васильевны в Москве получила продолжение на Московской чулочной фабрике имени Ногина, которая и поныне светит окнами своих цехов на Большую Сущевскую улицу в Марьиной роще.

С добрыми своими хозяевами она в конце концов рассталась. С окончанием нэпа они оказались не в состоянии содержать прислугу. А гордой польке уж очень навязчивыми стали казаться ухаживания хозяйского сынка. Теперь Мария Васильевна поселилась у других добрых людей, живших в собственном доме в Останкино. Теперь комиссарскую вдову судьба свела с семьей бывших русских крестьян» ушедших из своей Рязанской деревни от коллективизации. Успела эта семья вовремя принять правильное для себя решение в предчувствии великих деревенских перемен. Глава семьи был мудрым человеком. Он успел ликвидировать свое небедное хозяйство в родной деревне и приобрести дом на некогда привилегированной интеллигентной дачной московской окраине в Останкино недалеко от графского шере-

метевского дворца. Здесь, на этой почти сельской окраине, бывшим крестьянам много лет удавалось сохранять привычный деревенский уклад жизни. При доме был большой огород. У хозяина была лошадь. Две дочери были с мужьями. В этот останкинский семейный «колхоз» и определилась квартиранткой все еще молодая и одинокая теперь уже пролетарка с чулочной фабрики Ногина. Ей было удобно отсюда ходить пешком, по прямой Шереметевской улице, на фабрику. Всего каких-нибудь три километра молодые ноги пробегали быстро. А хозяевам тоже было удобно. Хоть плата за койку была невелика, зато расторопная квартирантка оказалась хорошей помощницей в хозяйстве, как говорится, свет не без добрых людей. Снова комиссарская вдова попала в хороший хозяйский дом. А сил у нее хватало и на работу у фабричного станка, и на хозяйском огороде, и в доме. Ведь она к этому времени многому научилась. Словом, хозяева приняли сироту в свой дом как родного человека. Всяко было в этом доме. Но до конца дней своих Мария Васильевна только добром вспоминала приютивших ее останкинских хозяев. Дружба с ними, то есть с дочерьми и мужьями умерших хозяев, продолжалась многие годы. Она помогла одинокой женщине пережить суровые годы войны. Подруги поддерживали ее и сочувствием, и картошкой со своего останкинского огорода, ведь никогда никаких пенсий и льгот вдова расстрелянного комиссара не получала. Да она их и не просила. Просто не знала, что могла бы иметь на них право. А из списков личного состава Красной Армии сама она была исключена уже давно. И, видимо, оставшимся в живых боевым соратникам было недосуг за собственными и государственными заботами вспомнить о расстрелянном комиссаре. А вдова его, гордая полячка, просить не умела. Она научилась работать и жить своим трудом. Каждое лето в отпуск она ездила в Негорелое к своей тетке и сыну, для которого она жила и работала.

Жить бы да жить Марии Васильевне у своих друзей-хозяев на останкинской даче. Но случилось такое, что заставило ее принять новое решение. В нее влюбился муж хозяйской дочери и ее подруги Илюшка. А она не могла принять его признания. Не могла она разбить семью и счастье своей подруги, Илюшке она сказала: «Нет!», а из приютившего ее дома ушла в наше фабричное общежитие. Так судьба свела нас с ней в наш закрестовский период жизни. Ей тогда было уже за тридцать. А жить ей пришлось с девушками, которые лет на десять были ее моложе и звались они Нюрами, Верами, Дусями. Вот и ее тогда звали, как и их, Марусей. Но она, конечно, отличалась от них и поведением и прежде всего заботами. У нее их было значительно больше. Побольше было и жизненного опыта, уменья жить экономно, рассчитывая только на свой заработок. А чтобы он был выше, она старалась свой план выработки перевыполнять и очень скоро стала ударницей. Ее фотокарточка бессменно присутствовала на фабричной Доске почета. Во многом в ее поведении сказывалась гордая шляхтенская порода. Она хранила в своих воспоминаниях о детстве иную картину жизни.

Отец ее был служащим банка и, видимо, его заработок обеспечивал в семье достаток. А строгий его характер был основой семейного порядка, прежде всего, в воспитании детей. Наверное, с тех детских пор Мария и усвоила основные правила жизни – честность, трудолюбие и независимую гордость, которая проявлялась во внимательном отношении к себе, к своему внешнему виду, в уменье выглядеть всегда опрятной, небогато, но прилично одетой. По дороге на фабрику в стайке своих молодых подруг Маруся ничем не отличалась от них. А в праздничные или выходные дни она выходила на улицу в модном платье, в красивой обуви, в добротном драповом пальто и в головном уборе в тон ему. Не любила Маруся выглядеть бедной сиротой. Никогда никому не жаловалась, ни у кого не одалживала. Но в помощи подругам не отказывала. Вокруг ее имени никогда не было сплетен. Девушки уважали и побаивались своей старшей товарки. И еще одна мелочь – любила Маруся угощать своих подруг по праздникам разными вкусностями, которые она умела и любила готовить. Ее пирожки с маком и изюмом узнал в ту пору и я.

Однажды перед праздником 1 Мая я пришел из школы и увидел в нашей комнате довольно странную картину: Маруся сидела на полу, между колен у нее был зажат маленький чугунок, в котором она энергично двумя руками скалкой что-то растирала или толкла. Оказалось, что она готовила мак для начинки пирожного рулета. Пожалуй, с этого дня я и запомнил Марию Васильевну как подругу моей Мамы. Они дружили потом до конца своих дней. А мне, как и моим братьям и сестре, передалось глубокое и преданное к ней уважение за ее бескорыстную доброту. В моей послевоенной жизни и в жизни моих детей ей предстояло занять особое место второй матери и бабушки. Но об этом будет другая повесть. А у Марии Васильевны к началу войны вырос сын, как она рассказывала, красивый и добрый парень. Она виделась с ним только в дни коротких отпусков, но все время, пока он рос и воспитывался у тетки, она жила и трудилась только для него, о нем думала, за него молилась и им гордилась. Накануне войны сын поступил в офицерское артиллерийское училище в Минске. Прислал маме фотографию в военной курсантской форме. Теперь мать стала ждать времени, когда соединит свою жизнь с сыном, будущим командиром Красной Армии. Но началась война, фашисты очень скоро захватили Минск. И Мария Васильевна даже не успела получить от сыночка последнее письмо. Началась новая страшная полоса ее сиротской жизни.

* * *

Наше новое жилище в фабричном общежитии было более чем скромно, прямо сказать, не Бог весть какое. Но все мы были ему очень рады. Особенно довольна и рада была этому подарку от дирекции фабрики имени Ногина наша Мама. В наших скитаниях по чужим углам больше всего и физических, и моральных неудобств приходилось испытывать и переживать ей. Хозяйский эгоизм и особенно амбиции хозяек даже при благополучно складывающихся отношениях в повседневной жизни, во всех кухонных и прочих мелочах, ежедневно и ежечасно беспокоили, если не сказать большего, ее самолюбие и достоинство. Хозяевам было несвойственно замечать за собой намеренную и тем более непреднамеренную бестактность. А Мама должна была их терпеть. Конечно, ее терпения хватало настолько, чтобы сохранить с ними добрые отношения. Но расставались мы с добрыми хозяевами, приютившими нас в своих семьях, не только с благодарностью, но и с радостью, что этому теперь пришел конец.

Далеко не бог весть какое хорошее было наше новое жилище. В девятнадцатиметровой комнате нас было шестеро, и размещались мы по-прежнему. По двум противоположным стенам в комнате встали две полутораспальные кровати. На одной, старой, еще дореволюционного происхождения, металлической кровати спали наши родители. А на второй, новой, тоже металлической, с никелированными спинками, спал я с братом Александром. Около печки уместился наш, тоже деревенский и тоже дореволюционный, окованный жестью сундук. На нем спала сестра Антонина. Вдоль стены, между окнами, аккуратно встал купленный для новой квартиры небольших габаритов диван. На нем спал старший брат Николай. А между Тониным сундуком и Колиным диваном, посередине комнаты, поставили стол. Он был раскладной, с двумя опускающимися полками и в сложенном положении занимал мало места. В правом углу, между окном и родительской кроватью, уместился резной, еще дореволюционный буфет с горкой для чайной посуды, с витражными стеклами. Словом, почти вся мебель, нажитая родителями еще до революции, уместилась в нашем новом жилище. Но передвигаться в нем можно было только боком, особенно тогда, когда семейство начинало укладываться спать.

После скитаний по чужим углам мы в нашей комнате этих неудобств не замечали. Более того, через некоторое время в комнате уместился еще и орехового дерева комод, который Мама вывезла из деревни, несмотря на наши протесты. В нем разместилось наше белье.

А верхняя одежда, так же, как и в девичьих общежитейских комнатах, висела на плечиках, завернутая в простыни, над кроватями. Расхожая одежда висела на общей вешалке в кухне. В тесноте пришлось жить, да не в обиде. За обеденным столом умещалась не только вся семья, по праздникам Мама умудрялась усаживать многочисленных гостей – и родственников, и друзей. Жили в радости и день ото дня растущем благополучии. Отец наш тогда работал заведующим магазином фабричного отдела рабочего снабжения. Тогда же на работу пошли инженерами старшие братья. Старший брат Николай теперь работал прорабом на стройке. А Александр – инженером в Московском областном бюро технической инвентаризации. Иждивенцев в нашей семье оставалось теперь только трое – Мама, да я с сестрой Антониной. Сестра тогда уже училась в седьмом, а я во втором классе. С ней вместе целый год я продолжал учиться в школе № 15 на Третьей Мещанской улице, по старому месту жительства. В 1934 новом учебном году в третий класс я пошел в новую школу № 48, которая была построена к тому времени на большом пустыре слева от Ярославского шоссе, если ехать от центра. Школа эта называлась «Образцовой», и этому соответствовали техническое обеспечение учебного и воспитательного процесса и состав учителей. К сожалению, я проучился в ней всего два учебных года, но с тех пор я не видел больше в своей жизни таких школ. В пять этажей она растянулась по пустырю длинным фасадом, окнами своих просторных классов на восток. А окна широких коридоров выходили во двор с распланированными зелеными газонами и огромными клумбами цветов. За этим цветным двором был построен большой школьный стадион с футбольным полем, местом для толкания ядра, теннисными кортами, волейбольной и баскетбольной площадками. Оборудование школы соответствовало задачам гармоничного обучения и воспитания учеников всех возрастов. Здесь имелись киноклассы, специально оборудованные кабинеты по химии, физике, биологии, географии, токарные и слесарные мастерские для настоящих занятий по труду. Впервые в жизни я узнал в этой школе, что означало название «Актовый зал». Он был двусветный, с большой сценой, партером и балконом, с кинобудкой, с гримерными помещениями для самодеятельных и профессиональных артистов, выступавших на школьных утренниках и концертах. Первый раз в жизни я увидел и настоящий, огромный физкультурный зал со всеми спортивными снарядами. Рядом со спортзалом находился медико-санитарный кабинет. Профилактические осмотры и различные прививки проводились здесь регулярно со строгим соблюдением правил санитарии и стерильности. Дисциплинирующий порядок в школе начинался с гардероба, который располагался в просторном вестибюле. Каждый класс имел свои секции, которые обслуживались дежурными учениками. У каждого был свой номер. Раздевание и одевание проходило под наблюдением дежурных педагогов. Как непохожи современные школьные раздевалки на те, что запомнились мне с детства. Мне иногда приходится провожать и встречать из школы свою внучку. В тесном коридоре раздевалки в часы пик нет никаких гарантий безопасности из-за столкновений с врывающимися сюда с разных концов коридора, с лестниц и из входных дверей школьниками всех возрастов. Этот дикий набег не поддается никакому порядку. Да за ним в это время никто не следит. Иногда с лестниц просто сваливается визжащий ком сцепившихся голов, рук, ног, портфелей. Справа и слева, навстречу друг другу и вперегонки проносятся с визгом разъяренные непонятным азартом мальчишки и девчонки. Словно пушечными выстрелами грохочет входная дверь, через которую в гардероб по ногам врывается холодный, в зимнюю и осенне-весеннюю пору, воздух.

Конечно, дети всегда и везде одинаковы. И мы в свое время не были паиньками. Но в нашей Образцовой сорок восьмой было достаточно простора, на котором также неудержимо и неуправляемо взрывалась наша такая же необузданная энергия. Но в гардеробе с раннего утра и по окончании занятий у нас царил строгий порядок. Однако не гардероб, конечно, определял условия нашего школьного порядка. Его олицетворяла внушительная, уважаемая

и строгая фигура нашего директора, которым был Георгий Михайлович Орлов. Мне он был знаком еще по пятнадцатой школе на 3-й Мещанской. А теперь я снова встретился с ним в новой школе. Не знаю, знакомы ли современные школьники со своими директорами? Мы же своего директора знали, и каждый день нас встречал и сопровождал в школе его строгий и заботливый взгляд. Он видел нас с высоты своего огромного роста. Не случайно, видимо, я запомнил его стройную, высокую фигуру в ладно сидящем на нем костюме и его строгое мужественное лицо с крупным носом и внимательными глазами. Я, как и все, боялся его. А однажды, вихрем вылетая из актового зала после урока пения, я вдруг оказался рядом с его ногами. Очень я испугался, когда понял, что это ноги директора, и приготовился к строгому наказанию. А Георгий Михайлович просто что-то ласково сказал, глядя на мое испуганное лицо, и также ласково погладил меня по стриженой голове, а потом выпустил из своих рук, словно пойманную птичку, на волю. Помню, как несказанно удивленный лаской этого большого доброго человека, я стремглав выскочил из-под его ног и без оглядки припустился по широкому и длинному коридору. Только много лет спустя я понял, что судьба свела меня в самом начале жизни не только с добрым человеком, но и с выдающимся педагогом, известным во всей стране. Много лет Георгий Михайлович Орлов работал заведующим Отделом образования Москвы, а затем, вплоть до конца послевоенных сороковых, – заместителем Министра народного образования РСФСР.

Очень важной персоной в нашей сорок восьмой школе был заместитель директора по учебной части – завуч Антон Павлович Туш. Он тоже перед тем как прийти в новую школу работал в той же должности в знакомой мне пятнадцатой. И он тоже был известной личностью среди московских учителей. В отличие от директора, Антон Павлович был среднего роста, толст и лыс, но также как и Георгий Михайлович Орлов был добр к детям. Но если доброту первого нельзя было угадать за его строгим видом, то у другого доброта светилась и на круглом, с толстыми щеками, лице, и на лысой, формы глобуса, голове, и исходила от всей его толстой, с огромным животом, фигуры. Полнота завуча не мешала ему быстро и ловко двигаться среди необузданных потоков и ватаг учеников, врывающихся по утрам в гардероб и в коридоры школы. Добродушный вид Антона Павловича часто подводил нас. В своем коридорном буйстве мы не замечали другого его педагогического качества – справедливой строгости. Он быстро обнаруживал наиболее неукротимых «злоумышленников» и усмирял их или на месте, или отводил в класс к учителю, или вовсе в свой кабинет – на строгую беседу. Замеченные им проказы и тем более злонамеренные поступки не оставались без замечаний и наказаний, но в пределах традиционных мер школьной педагогики. Самой строгой мерой было исключение особо провинившихся из Образцовой школы. Но мне помнится, что случаев таких у нас не было.

Образцовой наша школа была совсем не потому, что в ней были собраны только особо талантливые дети. В школе тогда училось около трех тысяч человек и большинство из них проживали в непривилегированных Закрестовских, Останкинских, Ростокинских и Алексеевских окрестностях. Не ошибусь, сказав, что большинство из них происходило из барачных поселков строителей Москвы, раскинувшихся по пустырям вдоль берегов тогда еще не очень грязной и тухлой реки Копытовки. Я до сих пор удивляюсь тому, как и почему нашу Образцовую сорок восьмую школу московские городские власти сумели построить в небогатое время второй пятилетки. Тем более удивительно и трогательно вспоминается оказанное детям внимание со стороны тогдашних органов Советской власти в сравнении с положением, в котором оказались школы в эпоху строительства «рыночных отношений» или, проще говоря, в эпоху реставрации капитализма. Сейчас в российской школе под этой новой идеей творится дикий эксперимент вовлечения детей в спекулятивное предпринимательство. Самой безобидной его формой является появление детской профессии мойщиков автомобилей. Этот детский промысел я каждый день наблюдаю из окон своей квартиры,

выходящих на древнюю московскую реку Яузу. Он начался лет уже семь тому назад в самом примитивном виде. Мальчишки с ведром и тряпкой предлагали свои услуги проезжающим автолюбителям. Плата за услугу была тогда копеечная. А теперь я наблюдаю заметную организацию этого русского автосервиса, подобного которому я не видел ни в одной стране. Мойщики уже вооружены бытовой химией, щетками на каждый вид моечной операции. Но самое главное, мойщики объединились в группы, которые по берегу Яузы застолбили свои стоянки и оберегают их от конкурентов. Клиентами их стали не просто автолюбители, а те самые «*новые русские*» нерусской, кавказской национальности, проезжающие по набережным в роскошных «Вольво», «Мерседесах» и «Пежо». Плату с них мойщики берут в «баксах». А недавно я видел и другую, совсем новую фигуру на мойщицкой набережной – сборщика дани или, как их теперь называют, рэкетиров. Словом, начался на детском рыночном промысле процесс конкуренции, социальной дифференциации, эксплуатации и разборок, похожих на классовую борьбу. На нашей набережной каждый день слышатся выстрелы, иногда разрывы гранат. А однажды наш Президент похвалился, что его внук тоже зарабатывает на мойке машин, наверное, он занимается этим промыслом не на нашей Яузе, и негативные социальные последствия и рэкетиры ему не угрожают.

В трудное время начала первой сталинской пятилетки по решению московских властей в столице было построено несколько новых зданий школ с высоким техническим оснащением, которые были названы Образцовыми. В них были хорошие учителя и учились обыкновенные дети. Мне повезло. Я два учебных года проучился в такой школе и до сих пор помню нашего образцового директора, его заместителя по учебной работе, учителя физкультуры Николая Павловича и нашего классного руководителя в третьем и четвертом классе «Д» Иду Сауловну Френкель. И еще я забыл сказать, что у нашей Образцовой школы был образцовый шеф – завод «Калибр». Он тоже был первенцем социалистической индустрии. Наша школа была построена недалеко от этого завода, и она ощущала постоянное внимание и участие его руководства во всех нуждах и потребностях. Дирекция и заводская профсоюзная организация оказывали школе материальную помощь в приобретении учебного оборудования, в организации питания, в проведении различных культурных мероприятий. У нас в школе была отличная столовая. В большую перемену нас всех водили туда обедать.

Значительную часть расходов за наши обеды оплачивал завод, а с родителей наших за это приходилось около трех рублей в месяц. Время-то тогда было еще карточное, а обеды, однако, были не только сытные, но и вкусные. До сих пор помню чистые, длинные столы, покрытые клеенкой. На них в тарелках наложенные горкой ароматные пирожки, только что испеченные на нашей кухне. Помню и добрых официанток, разносивших на подносах вкусный гороховый суп.

Директор завода «Калибр» часто бывал в нашей школе на всех официальных актах и праздничных мероприятиях. Поэтому всем нам он был знаком так же, как и наш директор. В школе учились дети рабочих и служащих с этого завода, и связь с ними была органической. Рабочая молодежь приходила к нам в качестве пионервожатых и комсомольских наставников. Я помню нашего вожатого Борю и последнюю экскурсию с ним в парк Сокольники после окончания четвертого класса. Он целый день угощал нас лимонадом и пирожными на деньги, выданные ему для этого на заводе.

Вообще во вспоминаемые мной годы шефство над школами заводов, фабрик, колхозов и совхозов было не только широко распространено, но и не было формальным. Ведь, наверное, я не случайно запомнил это шефство благодаря не только вкусным пирожкам и громкой музыке заводского духового оркестра, звучавшего с балкона нашего актового зала. Нет, не случайно я запомнил на всю жизнь название нашего завода-шефа! Мы, дети, гордились им, и в последующие годы мне приятно было читать в газетах и слушать по радио рассказы о передовиках, героях труда этого завода и о его успехах во Всесоюзном социалисти-

ческом соревновании. Как-то он теперь выживает в условиях беспредела демократического «рыночного соревнования»?

* * *

Все мы, которым посчастливилось учиться в сорок восьмой Образцовой школе, любили ее. А про себя скажу, что я не испытывал чувства неохоты ходить в школу. Тревога по поводу предстоящего диктанта или несовершенства спортивной одежды иногда была, но желания «прогулять» занятия у меня никогда не возникало. Мне в школе было интересно. Успехи мои в учебе тогда были не очень высокие, но итоговые контрольные работы по русскому и арифметике я писал на твердые четверки и закончил свое начальное образование круглым хорошистом с пятеркой по поведению, несмотря на то что во всяческих проказах был не последним человеком. А годовое сочинение мы писали о новогодней Елке. В тот год по инициативе Павла Петровича Постышева, Секретаря ЦК ВЛКСМ, ее вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Прекрасной Лесной Сказкой восстановили в утраченных правах главной детской новогодней радости. Главную елку с тех пор стали устраивать в Колонном зале Дома Союзов. Но на ней мне в детстве так и не довелось побывать. А свой первый Новогодний праздник под нашей школьной елкой я помню: она была устроена в большом актовом зале с помощью наших шефов с завода «Калибр» с увлекательными затеями и подарками от Деда Мороза. Под сохранившимся впечатлениям о подаренной нам радости все мы и написали очень похожие по содержанию сочинения. А о Елке в Колонном зале оставалось только мечтать. Правда, после войны, уже будучи студентом МГУ, мне удалось попасть на этот, за многие годы отработанный и отштампованный, спектакль. Пригласила нас туда с друзьями наша однокурсница, которая была дочерью очень влиятельной особы из Центрального Совета профсоюзов и, конечно, бывала здесь в новогодний вечер каждый год. А тогда, в 1953 году, мы уже учились на пятом курсе, мне было двадцать девять лет. Вспоминая эту новогоднюю Елку в Колонном зале, я написал бы совсем другое сочинение. Спектакль на этой элитарной Елке оказался не по возрасту не только для меня, но и для большинства присутствующих на нем недорослей из высокопоставленных семей наших рабоче-крестьянских руководителей. Мне остается радоваться тому, что разочарование от этой великолепной забавы не перебило моих воспоминаний о нашей первой новогодней Елке в нашей Образцовой сорок восьмой школе. Школа была, по-современному выражаясь, элитарной, а учились в ней совсем не элитарные дети. Обычно по утрам в первую смену, а в полдень – во вторую ребята шли ватагами из села Алексеевского и с Церковной Горки, с Маломариинской улицы и от поселка близ завода «Калибр», со Старой и Новой Алексеевских улиц и с наших, расположенных около Ярославского рынка, Суконной и Маломосковской. Шли они мимо раскинувшихся вокруг школы полей совхоза имени Сталина. К осени здесь вырастала капуста цветная, белокочанная и красная, морковь, свекла, брюква, турнепс. А потом на переменках, да и на уроках доставая их из-под парты, мы громко хрустели кочерыжками, морковкой или репой. Невелик был этот наш грех. Я не помню, чтобы сторожа совхозного огорода прибегали бы к жестоким мерам в борьбе с нашими нашествиями, а витаминная прибавка к школьному обеду нам не вредила.

Наша ватажка из Маломосковских и Суконной улиц до совхозных огородов не могла пройти мимо Ярославского колхозного рынка. Нас привлекал туда клоунадный аттракцион при устроенном там зверинце. Через каждый час-два клоун с высокой эстрады зазывал рыночную публику посетить сеанс звериного театра, где главным солистом был «слон-жонглер, балансер и танцор». В зверинец мы ходить не любили. Уж больно жалкий вид был у невольников-артистов в тесном и вонючем сарае. А вот клоунов – рыжего Вильямса и абсолютно партикулярного Иванова – мы слушали до конца их недлинной программы. Перед эст-

радой собиралась на каждые полчаса довольно плотная толпа любопытных зевак. А рыночные воры, пользуясь дармовым спектаклем, обшаривали их карманы. Иногда кому-нибудь удавалось схватить их за руку, но чаще слышались вопли уже обворованных ротозеев.

Были на рынке и другие аттракционы. На одном из них можно было измерить свою силу с помощью ручного динамометра или ударом кувалдой по какому-то стержню. От богатырского удара по размеченной доске вверх подскакивала металлическая стрелка, которая замирала на отметке, соответствующей силе богатыря. А на другом силачу предлагалось сжать широко расставленные металлические рукоятки. Нашей ребячьей силе жесткие пружины этих устройств не поддавались. Но тем не менее интересно было понаблюдать за стихийным соревнованием приезжих колхозных богатырей и местных спекулянтов-охмурял. Для нас это было бесплатное удовольствие, а богатырям тоже не в раэзор – по пятьдесят копеек за удар или отжим. Находились такие, после удара или натужного жима которых стрелка подпрыгивала до самого верха и раздавался громкий звонок. За этими пределами сила была уже неизмерима. Победители получали подарок – керосинку, примус, сапожную щетку или что-нибудь еще негожее, но неожиданное и потому удивительное, чем победители были всегда очень довольны. А в другом балаганчике рыночной публике тоже за пятьдесят копеек предлагали испытать свою ловкость и глазомер. Здесь надо было с расстояния трех-четырех метров суметь накинуть маленькое колечко на рукояти воткнутых в стенку ножей. Пятьдесят копеек стоили надутые в кипящем масле тощие китайские пирожки. За ловкими действиями китайских пирожников мы наблюдали с таким же интересом, как и за силачами на аттракционах. Слушали их рекламные, почти не на русском языке, речитативы. Понятно было только одно: «Люб ля пара, люб ля пара». Но мы пирожков не покупали, а покупали в конце экскурсии по рынку, по коробочке на двоих, мятные драже под названием «Пектус» и успевали их съесть по дороге до школы.

Из дому мы выходили всегда загодя, и времени у нас хватало походить по рынку, не пройти мимо огородов и успеть поиграть перед уроками на школьном дворе в салочки, чехарду. А девчонкам хватало времени напрыгаться через веревочку. Тут наши региональные ватаги сразу распадались, и на вид неорганизованное бушующее ребячье сообщество разбиралось по классам. Наконец, мы становились в линейку и поочередно заходили в школу. В этот-то момент и возникала снова тревога за предстоящий диктант или вызов к доске.

* * *

У меня сохранилась фотография нашего четвертого «Д». Классным руководителем у нас тогда стала Анна Ивановна, фамилии которой я, к сожалению, не запомнил. Была она очень толстой и строгой женщиной, мне кажется, что строгое выражение ее круглого лица в очках, запечатленное на фотографии, никогда не менялось. Неестественно грузное ее тело не давало ей возможности быстро передвигаться. По этой причине она не могла контролировать наше поведение на внешкольных и внеклассных занятиях и развлечениях. Но в классе, на занятиях она была строгой хозяйкой и учительницей. Наверное, благодаря ей я в конце своего четвертого года обучения вышел твердым хорошистом по всем предметам. После перевода в другую школу я больше никогда не встречался с Анной Ивановной и не имел возможности поблагодарить ее. Но память о ней сохранил до сих пор.

Жизнь развела меня со всеми моими однокашниками по сорок восьмой школе с той поры, как ее прекрасное здание передали военному ведомству. Изредка после этого мы еще встречались на улице. Иногда, встречая бывших соучениц уже красавицами, статными девушками, подходить к ним я не решался, не напоминал о себе по причине робости, но вместо истинного чувства симпатии вдруг громко издалека выкрикивал вслед им бестактные грубости. За них потом было стыдно. А им было невдомек мое так глупо скрываемое

восхищение. Не знаю теперь, где я могу их встретить и смогу ли когда-нибудь попросить прощения.

А вот на войне в свои еще семнадцать лет я вспоминал их всех и мечтал о встрече после Победы. Но иных уже к тому времени не стало, а другие разъехались по разным концам нашей Москвы, а может быть и дальше. Класс наш был большим. На сохранившейся у меня фотографии я насчитал сорок два человека – двадцать две девочки и двадцать мальчиков. И всех своих одноклассников, к сожалению, я не смог запомнить по именам и фамилиям. Но некоторых все-таки помню. В первом ряду вместе со стоящими на коленях пятью девочками пригнулся Коля Шахматов. С ним я дружил, был у него дома, в селе Алексеевском. А в победном сорок пятом, когда я пошел искать по окрестностям оставшихся в живых друзей, узнал, что Коля с войны не вернулся.

Во втором ряду на фотографии собрались одни мальчики, их я помню почти всех если не по именам, то по фамилиям. Крайним справа стою я сам, стриженный «под нулевку», в рубашке с грудным карманчиком и с красным галстуком.

Мне помнится, что она была синего, пионерского, цвета. В четвертом классе меня приняли в пионеры. Мои одноклассники ими стали раньше меня. Я помню, что их принимали в пионеры большой группой в актовом зале под звуки горна и бой барабанов. Меня в этой группе тогда не было. В школу я пошел учиться в семь лет и в классе оказался в числе младших, не достигших еще пионерского возраста. Очень – до слез – я переживал, что не был тогда принят в пионеры, и пожаловался дома Маме и Иде Сауловне, бывшей классной руководительнице и соседке. Но через несколько месяцев меня и других недолеток в том же актовом зале, на той же сцене и тоже с горном и барабаном, при пионерском знамени приняли в наш школьный пионерский отряд. Помню, как накануне я заучивал текст пионерского Торжественного обещания, начинавшегося со слов: «Я, юный пионер СССР…»

Теперь нет СССР. Хулители нашего советского прошлого уже успели вместе с его былым величием измазать и нашу детскую искреннюю идею товарищества, изобразив пионерское движение в виде рядов истуканов, марширующих под барабанный бой тоталитарной системы. А я помню совсем другое. Мне тогда искренне хотелось быть вместе со всеми на сборах у костра, в походах. Я очень хотел поехать в пионерский лагерь. Но Мама, волнуясь за мое хилое здоровье, так и не решилась пустить меня туда. Лагерную пионерскую жизнь я с большой завистью наблюдал из-за забора в подмосковской деревне Анискино, на берегу Клязьмы, бывая там в гостях у родственников. Эту зависть, как несостоявшуюся мечту, я ощущаю до сих пор. Там за забором каждое утро начиналась увлекательная игра. Был, конечно, строй, были горны и бой барабанов, был подъем и спуск флагов, рапорты. Но все это делали не истуканы, а увлеченные игрой дети под руководством своих пионер-вожатых – молодых и энергичных комсомольцев. В лагере все были вместе. Там возникало чувство дружбы и товарищества, и мне кажется, что для всех общим желанием было стать первыми в честном соревновании ловкости и энтузиазма. Нет! Совсем не на истуканов были похожи мальчики и девочки в белых рубашках с красными галстуками. У своего костра они пели не истуканские «Буги-Вуги», а «Взвейтесь кострами, синие ночи…». Разве могут подняться до такого тонкого настроения юной романтики ошалелые от неистовых звуков современной электронной музыки и от алкогольного кайфа, обворовавших их детство, внуки и правнуки членов былых пионерских дружин? Истуканство, к сожалению, в конце концов, действительно пришло в пионерскую жизнь. А привели его сюда усердные молодые унтерпришибеевы, вредная поросль не только пионерского, но и комсомольского движения. Она, особенно в послевоенное время, заглушила все живое в молодежном движении.

В шестидесятых годах главным пионерским вожатым стал Ю. Н. Афанасьев. В пятидесятых я был знаком с ним по совместной учебе на истфаке МГУ. Теперь официально он именовался Председателем Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Его моло-

дежный офис находился неподалеку от обоих ЦК – КПСС и ВЛКСМ. Очень тогда серьезным и преданным ленинским идеям выглядел этот делающий успешную карьеру молодой партийно-комсомольский функционер-бюрократ, обрядившийся в пионерский галстук. Умел он составлять доклады и произносить речи, ловок был в организации всяческих всесоюзных пионерских линеек и сборов в «Артеке», превращенном в школу истуканов. А мне, в моем детстве, этот крымский пионерлагерь запомнился той искренней завистью, какую испытывали мы к тем, кому выпало счастье в нем побывать. Я помню тогдашний фильм про «Артек»: в нем была показана удивительная история мальчика-беспризорника, случайно попавшего в этот дивный палаточный город у самого Черного моря. В нашем кинотеатре «Диск» я смотрел этот фильм несколько раз и впервые увидел тогда Крымские горы, море, кипарисы, пионерские палатки, спортивные площадки, соревнования, и с волнением следил за приключениями его героев. Я помню с тех пор и мотив задорной краснофлотской песни, которую пели артековцы:

Налетает вал на вал,
Ветер морем прям и скор.
Много волн в морях разволновал
Краснофлотский линкор.

И еще я помню поезда с пионерами, едущими в «Артек», они с грохотом пролетали мимо нашей деревенской станции, и дети в белых панамах махали нам руками из окон. Мне очень хотелось поехать с ними. Но увы! Не пришлось испытать этой детской радости. «Артек» я увидел лишь взрослым человеком в 1962 году, когда впервые в жизни приехал с женой отдыхать в Гурзуф. Он открылся мне из-за Медведь-горы. Море и кипарисы были на месте. Но палаток не было. На строго распланированном склоне террасами к морю спускались ряды коттеджей, которые образовывали целую систему лагерей. Их было, кажется, более двух десятков. Сквозь эти ряды круглый год, как по эскалатору, пропускались потоки пионеров, организованных в своеобразные батальоны. Жизнь этих батальонов была настолько зарежимлена дядями и тетями в пионерских галстуках, что порой она становилась похожей на отбывание срока, в течение которого каждый отдыхающий пионер должен был выполнить свою роль в придуманном спектакле о пионерской дружбе. Каждый день в лагере они должны были делать то, что было согласовано и утверждено Главным пионервожатым в виде «Распорядка дня». Дети уезжали из лагеря, даже вдоволь не накупавшись в синем и теплом Черном море.

Однажды к нам, на территорию пансионата, пришла группа артековцев с дядькой в галстуке. Они шли строем и были абсолютно одинаковы. Перед открытой галереей нашей столовой строй остановился, четко повернулся в нашу сторону и по команде дядьки охрипшими от лагерных песен голосами приветствовал нас своим артековским пионерским: «Здравствуй-те!» В то время у меня пионерами были два сына. Насмотревшись на этих солдатиков, я решил, что ни за что не пущу их в эту кузницу истуканов. Им полезнее оказалось проводить лето у бабушки, в Перловке. Пионерские рассказы и песни они узнали от меня. А плавать их я научил на неорганизованном пляже в поселке Морское, на восточном берегу Крыма.

Пионерской организации теперь у нас в России нет. А один из ее главных пионервожатых Ю. Н. Афанасьев быстро переквалифицировался сначала в Прораба перестройки, а потом в одного из активных проповедников и теоретиков разрушения нашей великой страны и ее истории.

* * *

Старая фотография нашего четвертого «Д» с надорванным левым углом лежит передо мной. А я смотрю на нее и пытаюсь вспомнить: как же их всех звали? Слева от меня стоит Ванька Барабанов. В классе, да и во всей школе, он имел репутацию возмутителя спокойствия: был отчаянным драчуном и проказником. Такую же известность он имел и на Церковной Горке, где жил, пользуясь покровительством старших вожаков улицы. «Церковка» в то время пользовалась недоброй славой. По вечерам обывателям там было небезопасно. Ванька похвалялся знакомством со «своими ребятами», а иногда даже намекал своим обидчикам на возможные последствия. Поэтому мы побаивались его. Но было в Ваньке и другое – вечная веселость и доброта. Наверное, эти качества были сильнее и важнее для его последующей жизни. Он со своей забавной, веселой, веснушчатой физиономией, рыжеватенький, на всю жизнь запомнился как устроитель «кучи-малы» в школьных коридорах, как устроитель веселых шкод на уроках пения или на ледяной горке зимой, в своей лохматой шапке, старых подшитых валенках и пальтишке с братова плеча, очень поношенном. Достаток у его родителей был явно невелик. А учился он неплохо. Был сообразителен, но не очень усерден в выполнении уроков. Оценки «плохо» и «хорошо», а иногда и «очень хорошо», особенно по труду и физкультуре, чередовались с записями о его поведении в классном журнале. Поскольку побаловаться на переменке имел слабость и я, то мы с Ванькой чаще оказывались в одной компании. Мне сейчас показалось, что мы и внешне были похожи. Может быть, поэтому сохранилась во мне память о нем, как о верном товарище. Как сложилась его жизнь, я не знаю. Но однажды я увидел Ваньку Барабанова в нашей Зубаревской бане. Узнал я его не сразу. Он был с сыном, мальчиком лет семи-восьми. Пара привлекла мое внимание тем, что отец очень заботливо и ласково обращался с забавным и шаловливым сыном. Глядя на этого затейливого рыжеватого и веснушчатого мальчика, я вдруг сразу узнал в нем моего товарища по четвертому «Д» Ваньку Барабанова. А отец его – теперь я уже не сомневался в своей догадке – был с виду моего возраста. Тело его украшал большой шрам на спине и заросшие пулевые дырки на руке, в предплечье. В предбаннике старший Барабанов предстал моему взору солидным, добропорядочным, серьезным и прилично одетым мужчиной. А сынок еще больше оказался похожим на моего одноклассника Ваньку.

Меня Ванька Барабанов не узнал. Он даже не обратил на меня внимания, несмотря на то что мы сидели на лавках напротив друг друга. Может быть, если бы я взял в тот раз с собой моего сына Диму или Лешу, и ему бы что-нибудь вспомнилось. Тогда я подошел к этому солидному и серьезному человеку и вежливо обратился к нему: «Простите, Вы, случайно, не учились ли в сорок восьмой школе?» Мужчина удивленно посмотрел на меня и сказал: «Да». «А Вы – не Ваня ли Барабанов?» – спросил я. А он, еще больше удивившись, ответил: «Да, именно, это я», – и продолжал удивленно смотреть на меня. Я понял, что меня Барабанов не узнает. Когда я назвался его одноклассником и напомнил свои имя и фамилию, бывший Ванька еще больше удивился и сделал вид, что узнал, вспомнил меня. Но я-то понял, что он не узнал. Разговор наш не клеился. Мне показалось, что он не очень-то помнит наш четвертый «Д», не как я. Но я был не в претензии, ведь нас с тех пор разделяли два десятка лет. Я называл ему оставшиеся в моей памяти имена, а он вроде бы тоже вспоминал их. Поговорили о том о сем. Оказалось, что он все еще живет в селе Алексеевском. Надо же! Жили рядом, а встретились за эти двадцать лет в самой, что ни на есть, затрапезной бане. Поговорили и разошлись, выразив надежду встретиться. Скоро нашу Зубаревскую баню закрыли, а на месте села Алексеевского по одну сторону соорудили памятный архитектурный комплекс Героев-космонавтов, а по другую – большой, многосекционный жилой дом. Больше мы с Ванькой Барабановым не встречались. Но тогда, при банной встрече, я был очень рад, уви-

дев живым и здоровым своего одногодку, одноклассника и друга детства. Ведь не многим такие встречи удались! Дай Бог здоровья Ваньке, если он жив, его сыну и внукам, наверное, они у него есть. Человеком он мне показался добрым и порядочным, несмотря на то что меня так и не припомнил.

* * *

Дальше, по фоторяду налево, на меня смотрит паренек с оттопыренными ушами, которого я тоже помню. Он был в классе, пожалуй, большим авторитетом, чем Ванька. Фамилия его Данилин, а имя, кажется, Вовка. Но мы звали его Данилой. Авторитет Данилы основывался на том, что он умел ловко танцевать матросский танец «Яблочко» и был непременным участником утренников и, значит, общешкольной знаменитостью. В общении с нами он всегда имел непререкаемый авторитет и друзей себе выбирал сам. Жил Данила недалеко от школы, прямо на Ярославском шоссе, в деревянном, сельского вида домике с сиреневым палисадником и сарайными пристройками во дворе. Дом стоял на пути в школу. Сейчас на этом месте угол огромного жилого дома, построенного в пятидесятые годы для работников ГИПРОМЕЗА – Института проектирования металлургических заводов. Он-то, вместе с рядом стоящим вдоль Проспекта Мира зданием Института, и загородил собой сохранившееся до сих пор здание нашей Образцовой школы. А тогда в одно и то же время перед началом смены наши пути сходились у Данилова дома, и получалось так, что он оказывался во главе образовавшейся сборной ватаги. Он становился ее командиром. По его указанию мы выбирали наиболее, по его вкусу, подходящий овощ на совхозном огороде. Огород-то этот был прямо сбоку его дома, там, где сейчас стоят здания большого полиграфического комбината. Дальше наша дорожка проходила прямо через огород. Мы ее протоптали сами. На огороде Данил вел себя смело, по-хозяйски, так как его родители работали на этом овощном поле. С ним и мы чувствовали себя в безопасности. С реконструкцией Ярославского шоссе во второй половине тридцатых годов, как раз после того, как мы закончили свое начальное образование, дом нашего вожака был снесен. И с тех пор Данил исчез с нашей окраины, но не из памяти.

Завидовал я тогда его умению лихо отплясывать матросское «Яблочко». Может быть, поэтому сам я научился в солдатской самодеятельности не только бить матросскую чечетку, но и крутить что-нибудь посложней. Не зря теперь хожу, приволакивая правую ногу.

Рядом с Данилом стоит на фотографии его дружок Моторин. Не совсем уверен, что звали его Сергей, но то, что и его звали у нас коротко Мотором, – помню точно. Он у Данила был ведомым. Сам-то по себе он был тихим пареньком, но дружок специально создавал ему репутацию задиры, намекая своим оппонентам на таинственную его силу. Мотор носил на руке кожаный напульсник. Этот кожаный ремешок на левом запястье в то время был символом, намеком приблатненных парней на якобы их силу или знание приемов боя. Такая тогда среди уличной ребятни была мода. Мы верили ей и тоже шили себе напульсники или просто надевали ремешки от часов. Но у Мотора был настоящий напульсник и жил он где-то в Маломаринских переулках, куда мы и днем опасались ходить. Но дело, конечно, было не в этом, а в умении Данила создать себе и другу, как сейчас говорят, имидж превосходства. Педагогом был этот ушастый невысокого роста блондин. Мы его уважали и подчинялись ему.

Дальше, между Мотором и огромной нашей Анной Ивановной стоит маленький еврейский мальчик и держит в руках трафарет, на котором обозначен номер нашего класса – 4«Д». Фамилия этого мальчика Пейсахович. Больше ничего о нем не помню.

Слева от классной руководительницы сгруппировалась троица. Помню только две фамилии. А кому из троих они принадлежат, не уверен. Кажется, что справа – веселый шуст-

рик Грачев, а левый – мямлик Горшков. А о среднем, увы, ничего сказать не могу. Помню, что и Горшков, и Грачев были неутомимыми игрунами, хотя и с разным темпераментом.

В Грачеве можно было сразу угадать веселого озорника. А озорство Горшкова скрывалось под личиной Мямлика. В отличие от друга он был неожиданным проказником. На переменках оба были похожи на двух котят, один из которых вроде бы был ленивым, сонным, а другой – неугомонно крутящимся вокруг своего хвоста. Но вдруг оба взрывались в яростной братской игре.

Куда пошли по жизни эти милые мальчики, не знаю. Хотелось бы надеяться, что судьба сохранила их живыми в грозную годину. А вот про Сашу Резникова точно знаю, что он старшим лейтенантом погиб в конце войны где-то в Германии.

На фотографии Саша стоит крайним слева в моем ряду. Оторванный уголок ее сохранил на карточке только его лицо и левое плечо. По лицу и сейчас можно угадать, что это был умный мальчик, отличник. В нашем 4 «Д» он был новеньким. Я познакомился с ним, когда уже в конце первой четверти пришел в класс после долгой болезни (у меня была дизентерия), конечно, отставая сильно от школьной программы. Саша вызвался мне помочь. Наверное, он мог бы стать ученым, если бы судьба уберегла его от фашистской пули или бомбы.

О гибели Саши Резникова на войне я узнал случайно. В марте 1975 года я ехал в поезде «Москва – Берлин» в Варшаву читать лекции в университете. Буквально перед самым отходом в мое купе вошли трое мужчин моего возраста, командировочного вида. Оказалось потом, что они были инженерами какого-то важного института и ехали на обсуждение проектов с польскими партнерами. Мы поздоровались, но знакомиться не спешили. В пути общение возникает естественно, само по себе. Поезд отошел от вокзального перрона и медленно стал выбираться из переплетения рельсов к окраинам Москвы. Один из спутников, глядя в окно, вдруг оживился и проговорил что-то насчет того, что жизнь одинаково повторяется в поведении и забавах детей. Я тоже посмотрел в окно и увидел, как мальчишки и девчонки на санках, на дощечках, на тазах, на картонках с визгом скатывались по заледенелому спуску в овраг, сваливаясь на его дне в невообразимую кучу с шевелящимися головами, ногами, руками, валенками и шапками. А сосед снова произнес: «Совсем так же, как это было и у нас». Я спросил, чтобы поддержать начавшийся разговор:

– Простите, – сказал я, – где это у вас?

– А у нас на горке, – по-ребячьи весело сказал попутчик, – на реке Копытовке.

Но тут уже оживился и я. Спрашиваю:

– А где же вы там, у речки Копытовки, жили?

– Я и сейчас там живу, – отвечает, – за кинотеатром «Космос».

Спутник был примерно моего возраста, и я опять пристал к нему с вопросом:

– А в какой школе вы учились?

А он мне в ответ:

– В сорок восьмой и я, и мой старший брат учились.

– Простите, – говорю я, – а какая у вас фамилия?

– Резников, – отвечает попутчик.

Наступила и моя очередь удивить его:

– С Сашей Резниковым, – говорю, – я учился в этой же школе, в 4 «Д».

– Это, – говорит сосед, оторвавшись от окна, – был мой брат.

– Почему был?

– Потому, что старший лейтенант Александр Резников погиб в сорок пятом в боях под Берлином.

Так состоялось мое знакомство с младшим братом моего одноклассника. Он был на два года моложе и воевать ему не пришлось. Кончилось дело длинным разговором, воспомина-

ниями о нашем соседском детстве под бутылку коньяка. В Варшаве мы все вместе вышли из вагона и разошлись по своим делам.

Мне много раз потом приходилось бывать в городах ГДР и ФРГ. И всякий раз, посещая места захоронения наших воинов, я искал на стенах имя и фамилию моего одноклассника. Но, видимо, не все могилы я обошел. И теперь уже не обойду. А кто же теперь, как мы когда-то солдатами пели, «в Германии, в Германии, в проклятой стороне» найдет его могилу и помянет благодарным словом? Родители его давно умерли, а своих детей он завести не успел.

* * *

В следующем ряду, выше нас, стоят девочки. Правда, слева ряд начинается с маленькой физиономии Эдика Браслевского. Собираясь с него продолжить поиск забытых имен, я вдруг обнаружил, что на фотографии нет Семки Кантора, с которым я целый год сидел за одной партой. Может быть, он остался на оторвавшемся и потерянном уголке фото? А может в тот день, когда нас снимал фотограф, он был болен? Это наиболее вероятно. Был Семка худ, бледен, с маленьким и жалким личиком. Говорил он плаксивым голосом с унаследованным от родителей местечковым акцентом. В учебе сосед был прилежен, а в поведении робок. Он все время втягивал голову в плечи, будто ожидал подзатыльника. В наши неистовые игры в коридорах не играл. Однажды он пришел в школу в новеньком костюмчике из хлопчатобумажной ткани – в штанишках с застежкой под коленкой и курточке с карманчиками. Костюмчик был светло-коричневого цвета в крапинку. Такие продавались в палатках промкооперации на нашем Ярославском колхозном рынке. В тот день мы решали контрольные задачки по арифметике. А чернильница была не в порядке. Кто-то туда набросал кусочки от промокашки. Один из них повис на моем пере, и я машинально попытался стряхнуть его. Сделал это чуть сильнее, чем надо было, и нечаянно обрызгал Семкины новенькие штанишки жирными фиолетовыми чернильными кляксами. Почувствовав свою вину, я попытался стереть кляксы промокашкой. От этого они превратились в большие пятна. Семка тихо и безутешно заплакал – не только от того, что ему жалко было своей обновы, но и от страха наказания дома. Он тихо всхлипывал, приговаривая обреченно, что отец обязательно сегодня его выпорет. Наверное, тот, кто когда-нибудь прочтет эту маленькую новеллу из детских воспоминаний, не поверит мне, но я до сих пор чувствую свою вину за нечаянно содеянное. Я так и не смог искупить ее. На следующий день Семка не пришел в школу. А когда пришел, то на выстиранных и потерявших вид новых штанишках пятна от чернил так и не отмылись. Хорошие тогда были чернила. Я, чувствуя свою вину, заискивал перед Семкой, защищал его от агрессивных наскоков одноклассников. Кажется, он мне простил, но сам долго оставался в печали. Много ли радости было у Семки Кантора в последующие годы? Не знаю. После окончания четвертого класса мы разошлись по разным школам и больше никогда не встречались. Не чувствуй я и ныне своею невольную вину перед ним, не стал бы, наверное, искать его на старой оборванной фотографии.

* * *

Я уже заметил, что предпоследний, девичий ряд нашего класса слева начинается маленькой физиономией Эдика Браславского. О нем могу сказать только, что этот маленький человечек, с неожиданно басовитым голосом, был необыкновенно подвижен, непоседлив и непредсказуем. Он тоже был неутомимым и веселым проказником. После войны я несколько раз встречал его в селе Алексеевском и с трудом узнавал в нем когда-то забавного шалуна. Вырос он немного, не дотянулся даже до «ниже среднего». Зато дефицит роста он успешно компенсировал весом и не столько толщиной фигуры, сколько своей откормленностью. Он

был одет в добротный и модный костюм, и вид его свидетельствовал о том, что этот человек преуспевал и жил в достатке.

Знакомства с ним я возобновлять не стал, так как у меня, вернувшегося с войны, вдруг возникло какое-то предубеждение, связанное, вероятно, с его уж слишком благополучным видом. Оно подкрепилось тем, что однажды мы столкнулись с ним лицом к лицу и Эдик не узнал меня. Я уже готов был напомнить ему наше общее озорное детство, но Эдик, равнодушно скользнув взглядом по моему лицу, прошел мимо. Мне показалось тогда, что он и не ждал, и не желал этих напоминаний.

Однако знакомство наше с Эдиком Браславским чуть было не возобновилось в начале восьмидесятых. Перед этим судьба свела меня с другим аборигеном еврейского поселения в русском селе Алексеевском, знакомым мне по общей детской компании из другой школы, – Умкой. Теперь это был солидный человек Наум Ильич Голобородко – начальник Управления технического снабжения Московской телефонной сети. Случайно встретившись и узнав друг друга, мы несколько лет поддерживали дружеские отношения. Однажды я посетовал, что никак не подберу себе приличного костюма. А мне тогда предстояла зарубежная поездка.

Наум вызвался мне помочь и сразу же взялся за телефон. Он быстро нашел нужного и способного мне помочь человека, им оказался Эдик Браславский – директор магазина готовой мужской одежды, который находился недалеко от несуществующего уже теперь села Алексеевского, на углу проспекта Мира и улицы Галушкина. Оказалось, что Эдик помнил меня, и мы договорились встретиться. Но на следующий день я купил себе костюм в ГУМе и к своему однокласснику не пошел. Однажды я позвонил по сохранившемуся номеру, Эдик был в отпуске. Потом номер телефона исчез из записной книжки и из памяти. А все-таки жаль! Надо было бы повидаться. Другого случая встретиться с детством, наверное, уже не будет.

* * *

Надя Неустроева не случайно оказалась на фотографии рядом с Эдиком. Она была его соучастницей в проказах на переменах, жила недалеко от него, на Церковной Горке, но отличалась более чем скромной одеждой. Бедненькая и худенькая она была, но зато всегда озорно улыбалась. Такой она смотрит на меня и с фотографии, такой же я встретил ее летом в сорок пятом, когда после парада Победы пришел в район, где прошло мое детство, искать оставшихся в живых друзей. Остановился я около дома Бумки Сапожникова и через заборчик переговариваюсь с сестрой приятеля. Назвал свою фамилию. И вдруг слышу тоненький и радостный голосочек. Из домика-сарайчика появилась маленькая, худенькая и все такая же бедненькая Надя Неустроева. Она-то и сообщила мне о том, что на войне погиб Коля Шахматов, с имени которого я и начал здесь свой рассказ о нашем 4 «Д» из сорок восьмой Образцовой школы. Лиха этой девочке, видимо, досталось много. Она рассказала мне о погибшем на фронте отце. Всплакнула. Но потом глаза ее опять засветились от радости видеть меня живым и невредимым.

А сосед ее, Бумка Сапожников, которого я искал, между прочим, в это время работал заведующим комиссионным магазином.

Рядом с Надей Неустроевой, положив ей руку на плечо, с фотографии на меня смотрит пионерка Лиля Иванова. Ее после войны я тоже встретил там же, в селе Алексеевском. Она спускалась навстречу мне от церкви к мостику через речку Копытовку. Тогда эта речка новым поколением здешних жителей уже именовалась «Тухлянкой». А Лилю было почти невозможно узнать в образе «дамы, прекрасной во всех отношениях». Кажется мне, что мы друг друга узнали одновременно и одновременно же решили не обнаруживать этого. Спокойно разминулись. И все-таки, разойдясь, одновременно она и я оглянулись. И опять сде-

лали тот же вид. Я тогда все еще оставался старшим сержантом, а она была красивой дамой. Потом я много раз видел Лилю издалека. Она продолжала жить в селе Алексеевском, но не в том старом деревенском доме, в котором до войны она соседствовала с Колей Шахматовым. Этого дома уже не существовало, и я предположил, что моя прекрасная одноклассница сделала удачную партию в нашем еврейско-православном Алексеевском селе. Однажды, уже в каком-то шестидесятом году, я узнал ее в окошке киоска с театральными билетами на станции метро «Щербаковская». Теперь она была уже дамой уважаемого возраста, за пятьдесят. А потом еще раз я видел ее, торгующую билетами на футбольные матчи в Лужниках. Всякий раз при этих встречах, да и теперь я всегда вспоминаю Лилю как девочку моей мечты из нашего 4 «Д». Свое неравнодушие к ней я проявлял в бестактных и дерзких поступках по отношению к ней. Иона, конечно, так и не поняла моих истинных чувств. Только однажды на нашей последней пионерской прогулке в Сокольниках с нашим пионервожатым Борей, по ее просьбе, я пообещал покатать ее на лошадке, когда вырасту и стану кавалеристом. Мы тогда мечтали о будущем. Мои друзья хотели стать летчиками, танкистами, а я мечтал о коне. Кавалеристом-то я на некоторое время на войне стал. Но обещания своего не выполнил. Потерял я под станицей Абинской на Кубани своего коня и до конца войны прошагал в пешем строю.

Дальше в ряду за Лилей стоит Лиза Первушина. Она сидела за партой перед нами с Семкой Кантором. Я дергал ее за рыжие косы. А еще помню, как она на уроке физкультуры ловко становилась «на мостик» и, лежа на животе, легко доставала носками ног до своего затылка. Больше ничего об этой девочке не помню и никогда ее не встречал.

Также я больше не встречал девочку по фамилии Гинзбург. Помню, что она была очень тихая и скромная. Один глаз ее немного косил. Она была отличницей.

За двумя совсем уже неузнаваемыми мною теперь девочками в центре ряда на фото стоит в обнимку с соседками наша староста, отличница и признанная пионерская командирша Юля Петрова. Она была у нас не только общешкольной, но и районной, да и, пожалуй, общемосковской знаменитостью. Я до сих пор удивляюсь тому, как могла она научиться громко и отчетливо произносить пионерские речи на наших школьных сборах, как у нее хватало смелости выходить на трибуну на районных и городских слетах, как она могла так уверенно заставлять нас слушать себя. В момент таких выступлений Юля, задорная, звонкоголосая, курносая, русоголовая, с косичками вразлет и с концами пионерского галстука также вразлет, смотрела на нас, как с плаката. Мы, мальчишки, завидовали ей, но такими же, как она, стать никак не могли. Такие, как Юля, во время войны становились разведчицами, партизанками, радистками или, на худой конец, героинями-станочницами, кующими победу в трудовом тылу. Стала ли наша Юля такой, не знаю!

Еще три девочки запомнились мне из предпоследнего ряда на фотографии. В нашем классе учились две сестры Кочегаровы, жившие в частном доме около Ярославского рынка на Суконной улице. Я, кажется, уже упоминал эту фамилию в связи с описанием Чулковского двора по Третьей Мещанской. Семья Кочегаровых, как и наша, несколько лет проживала в том же дворе на положении временных квартиросъемщиков и почти одновременно с нами переселилась в приобретенный на Суконной улице дом. Семья была большая. Может быть, это даже были две семьи. Скорее всего, дом приобрели два брата, и у каждого из них была своя семья. Мои одноклассницы Кочегаровы были двоюродными сестрами. Одну из них звали Надя, а имени другой я не помню. Были у них старшие сестры и братья. С ними были знакомы мои братья и, кажется, даже ухаживали за красивыми девушками-сестрами. Одну из них я запомнил по любительской фотографии, сделанной во время проводов на действительную службу в Красную Армию моего старшего брата Николая в 1934 году. А с Борисом Кочегаровым, одним из братьев моих одноклассниц, я был знаком сам. Он был постарше

меня года на два-три, но иногда мы в одной команде играли в футбол и часто встречались на представлениях нашей рыночной клоунады.

Между прочим, дом Кочегаровых и остатки его обитателей исчезли из поля моей памяти сравнительно недавно. Дом простоял до начала шестидесятых годов, до тех пор, когда на его месте был построен многоэтажный дом и исчезла сама Суконная улица. С ней вместе исчезли и последние ее обитатели. Но до недавнего времени знакомые кочегаровские лица нет-нет да и возникали перед моими глазами на рынке, в магазине, в трамвае или просто на проспекте Мира, именовавшимся в памятные тридцатые годы просто Ярославским шоссе. Бориса Кочегарова, например, я признал однажды в образе добропорядочного пожилого человека, отдыхающего на скамеечке по утрам и в полдень на 4-й Лучевой просеке, в Сокольниках. Я пробегал мимо него по утрам во время физзарядки. Решил однажды я с ним поговорить. Присел рядом. Он посторонился, но особого внимания на меня не обратил. А я ему сказал: «Здравствуйте!» Стал завязывать вроде бы развязавшийся шнурок кроссовок. И, нагнувшись, как бы между прочим, говорю: «А я ведь вас знаю. Вы – Кочегаров». Он пристально посмотрел на меня, но узнать не смог. Тогда я стал рассказывать ему его биографию тридцатых годов, и даже про Третью Мещанскую, и Чулков дом. Мой случайный собеседник был очень удивлен, как мне показалось, даже до испуга. И тогда я раскрылся. Дальше мы стали вспоминать вместе и его сестер, и братьев, и моих братьев, и наших родителей. От Бориса я узнал, что и его родословная начиналась где-то в российском крестьянском Черноземье и что по знакомой причине родители оставили свою деревню в конце двадцатых. Все наше прошлое показалось нам сродни. Вспомнили мы и нашу школу, и Ярославский рынок, и огромную грязную лужу в конце Суконной, и наши бараки, и про то, как началась война, и про тех, кто на нее ушли и не вернулись.

Спросил я у Бориса и про моих одноклассниц – Надю и ее сестру, имени которой я не запомнил. Он сказал мне, что Надя жива, здорова и красива, несмотря на годы. Он подтвердил мое предположение, что ее я мог встретить в детской поликлинике, когда однажды был там со своим маленьким Димой. Только он уточнил, что Надя-то тогда была уже бабушкой. А я запоздало пожалел, что, встретив ее, не нашел предлога для возобновления знакомства. С Борисом с тех пор мы встречались часто до тех пор, пока я бегал на зарядку. Я-то тогда еще бегал, а он уже жаловался на сердце. С тех пор много лет я его не встречаю, хотя мимо дома, в котором он жил, прохожу еще довольно часто. На зарядку в Сокольники я уже, конечно, не бегаю. Не спросил я у Бориса адреса Нади. Ну а если бы даже и спросил, вряд ли бы им воспользовался.

Теперь всякий раз, когда я снова беру в руки старую школьную фотографию, я гляжу на сестер Кочегаровых и, к сожалению, не могу вспомнить которая из них Надя. Вот и все про Кочегаровых. А род-то их, я уверен, не оборвался!

* * *

Я продолжаю вглядываться в лица своих одноклассников и никак не могу понять, как получилось, что имена и фамилии некоторых из них мне запомнились, а другие позабылись напрочь. Лица-то все смотрят на меня с фотографии знакомые. Мне кажется, что всех их я узнал бы при встрече, но по имени уже, увы, не назвал бы. Так это произошло однажды в парикмахерской на проспекте Мира, лет десять тому назад. В дамском зале я обратил внимание на показавшееся мне знакомым лицо мастера. Сидя в ожидании своей очереди, разумеется, к мужскому мастеру, я наблюдал за работой этой пожилой женщины и силился вспомнить, когда и где мы с ней вместе учились. То, что это было так, я не сомневался. Но ответ на возникший вопрос в моей памяти так и не нашелся. Подошла моя очередь к моему мастеру.

А когда я выходил из парикмахерской, то заинтересовавшего меня лица я уже на рабочем месте не увидел.

После этого я раза два специально заходил в салон, чтобы разгадать эту загадку памяти. Но, видимо, каждый раз попадал не в ту смену. Не заставал я свою одноклассницу на работе. А потом любопытство мое прошло. Но вот теперь я вспомнил про парикмахерскую, обратив внимание на девочку-пионерку в первом ряду фотографии нашего 4 «Д». Конечно, это была она. В лице ее сохранились запомнившиеся мне черты. Но имени ее и фамилии я так и не помню, так же, впрочем, как и многих других имен. Зато запомнил фамилию другой девочки-пионерки, стоявшей в предпоследнем ряду рядом с Кочегаровой. Имени ее я не помню, но по фамилии она была Гречко. Я не могу себе объяснить, почему мне запомнилась фамилия этой девочки. Мы с ней не дружили, в общих играх рядом не были, не ссорились, да и, можно сказать, друг друга не интересовали. Казалось бы, не могло остаться никаких оснований, чтобы я мог узнать ее через тридцать лет. Но однажды, в середине уже шестидесятых годов, я узнал эту свою одноклассницу совсем в ином образе. Она выглядела шикарной дамой, в очень дорогом, во все времена, черном каракулевом манто. На руках ее, на всех пальцах, я успел разглядеть перстни и кольца с камнями, наверное, неподдельными. Словом, рядом со мной на троллейбусной остановке напротив Дома обуви стояла полнотелая, благополучная дама, наверное, уже бабушка. Меня она не только не узнала, но и просто обошла взглядом. А я сразу определил – это была бывшая моя одноклассница Гречко. Вот и все. После этого еще несколько раз встречал ее то на Ярославском рынке, то около магазинов на проспекте Мира. Всякий раз она обращала мое внимание на признаки ее высокого материального благополучия и всякий раз у меня не возникало никакого желания возобновить знакомство. Мне почему-то казалось, что не нашли бы мы с ней предмета для разговора.

Вслед за Гречко, в том же ряду, на фотографии я узнал Олю Романовскую. После окончания четвертого класса мне не пришлось ни разу с ней встретиться. Дом, в котором она жила на Церковной Горке, был сломан еще до начала генеральной реконструкции этой территории. И с тех пор Оля никогда не появлялась в наших окрестностях. Но я уверен, встреться она мне на перепутье, я узнал бы ее непременно и не прошел бы мимо, и обязательно заставил бы ее узнать себя, и мы бы вспомнили наше детство. Она запомнилась мне очень доброй и ласковой девочкой. Мы ее никогда не обижали своими бестактными шутками, а она никогда не раздражала нас какими-либо признаками надменности, свойственными прилежным девочкам-активисткам. Она была среди нас своей. Жаль, но не пришлось мне с тех пор встретиться с Олей Романовской.

Справа от Оли Романовской, в ее ряду, остались не узнанными две очень знакомые мне девочки. Тут память не сохранила мне ни одного факта нашего общения.

* * *

В последнем, верхнем ряду на фотографии стоят наиболее крупные и по росту, и по возрасту мои одноклассники и одноклассницы. Здесь собрались все переростки нашего класса. И в нашем, и в других классах нашей школы, да и в других школах в те годы среди учеников часто можно было встретить подростков на два-три года (а то и более) старше основного возрастного контингента. Их облик намекал на уже более разностороннее познание жизни. А в учебе они, увы, как правило, были отстающими. Физически они были сильнее нас. Но это, однако, не давало им оснований быть лидерами в классе, и преимущественным авторитетом среди нас они не пользовались даже в тех случаях, когда пытались осуществить свой силовой диктат. На протяжении всех лет обучения в средней школе мне приходилось встречаться с такими одноклассниками и лишь с немногими у меня и у мне подобных отношения были равноправными, дружескими. Но, однако, могу сказать, что одно преимущество перед

нами они в конце концов получили. Их раньше моих сверстников принимали на заводы, в аэроклубы. И они раньше нас ушли на войну в самое страшное время. Большинство из них оттуда не вернулись.

Мои великовозрастные или просто самые рослые одноклассники расположились на фотографии в верхнем ряду. С правого края первым там стоял Иван Жучков. Глядя на него, можно сразу определить, что он старше меня был года на два-три. В классе он сидел вместе со стоящим рядом с ним парнем на последней парте в левом ряду, около окна. Ход урока обоих не очень увлекал. Чаще они занимались другим – охотой на мышей. В классе у нас иногда бывало так, что к доске вдруг, откуда ни возьмись, выбегала мышь, вызывая переполох, особенно среди девочек. Да и наша большегрузная и строгая Анна Ивановна не выдерживала этого неожиданного стресса – не столько от появления мышки, сколько от нашего визга. Мышь появлялась каждый день в одно и то же время и давала нам повод для необычного развлечения. Она осторожно показывалась из норки под батареей, рядом с которой была парта Ивана Жучкова. Потом она, осмотрев местность, выбегала на середину класса. Туда же, в маленькую дырочку, она убегала, потешив нас своим появлением у доски. Девочки визжали не столько от страха, сколько от удовольствия. А Анна Ивановна была в полуобмороке. Но вот в борьбу с нарушительницей спокойствия вступил Иван Жучков. Он быстро придумал способ и орудие охоты. На занятия Ванька приходил с большим запасом съестного. У него в сумке было с полбатона, а то и целый батон хлеба, кусок колбасы. Он был добрым малым и часто угощал нас. Но теперь он нашел другое применение продовольственным избыткам. Горбушка от батона использовалась как приманка. А главным орудием охоты стал циркуль «козья ножка». Он разгибал его так, что насаженный на карандаш циркуль превращался в пику. Горбушку Иван клал на мышиное отверстие и нацелившись на нее своей пикой – «козьей ножкой» замирал в долгом ожидании. Замирал с ним вместе и весь класс. Охота захватывала и нас. Наконец горбушка начинала шевелиться и Иван вонзал в нее свою пику. Класс громко вздыхал, Анна Ивановна оказывалась в полушоке, а охотник – верзила Иван – поднимал свою жертву, насаженную на конец «козьей ножки», над головой. Урок срывался. Ваньку учительница выгоняла из класса. Но свою охоту он не бросал, занимаясь ею на переменках. Мышь больше к доске не выбегала. После окончания четвертого класса с Иваном Жучковым я никогда не встречался и, кроме его страсти к охоте на мышей, ничего другого вспомнить не могу. Ничего я не могу сказать о его соседе по парте. На фотографии этот ушастый и конопатый недоросль стоит справа от Ивана. А за ним, в пионерском галстуке, стоит тоже уже великовозрастный Шульмейстер. В нашем классе он тогда был новичком и очень удивил нас всех странной разболтанной походкой и трясущейся, как у болванчика, головой. Глаза у него были умные. Умной, очевидно, была и его лобастая и болтающаяся над плечами голова. На его долю досталась какая-то болезнь. Движения рук и ног его были раскоординированы. Тогда нам неведомо было слово «полиомиелит». Но теперь, вспоминая Шулю, так мы его звали, мне кажется, что именно этой болезнью он успел переболеть. По этой причине он и оказался переростком. А учился он хорошо. Быстрее его задачки у нас никто не решал. После войны я несколько раз встречал его на улице в районе проспекта Мира. Болезнь спасла Шулю от войны. Внешне он мало изменился. Так же тряслась его голова и заволакивались ноги. Узнать его было нетрудно.

Еще из стоявших в последнем ряду ребят я помню Громова, Краснова и Голдина. О первом ничего сказать не могу, кроме того, что он тоже в классе был новичком и жил в городке «Метростроя», возле Сокольников.

А следующий за ним Краснов в классе был личностью общественной и выборной. Переростком он не был. Просто быстрее нас успел вырасти. Он был старостой класса и отличником учебы. Жил Краснов в Заморенском переулке, недалеко от школы, в деревянном сельского вида домике, таком же, как и у Данилы, и тоже с палисадником, калиткой и дво-

ром с огородом. Мне почему-то запомнилось, что отец Краснова был то ли чекистом, то ли политическим работником и принимал участие в партийных чистках. Об этом таинственно нам рассказывал сам наш одноклассник. И это создавало ему особый ореол причастности к чему-то важному. Мы его даже побаивались. Домой к себе Краснов не приглашал. Иногда мы провожали его, но доходили только до калитки. Но потом вдруг он исчез из нашего класса и из школы. Кто-то сказал, что его семья переехала на новую квартиру. А может быть папа его, политический комиссар или чекист, сам попал под чистку? Краснова больше я никогда не встречал.

С Голдиным мы жили рядом. Была когда-то в наших окрестностях улица Большая Московская. Она напоминала подмосковную деревеньку в два ряда домов. В одном из этих домов и жил Голдин. Из школы по вечерам мы с ним шли вместе, и иногда он приглашал меня к себе поиграть. Я тогда даже познакомился с его отцом. Он был бухгалтером какой-то торговой организации. Помню, как он однажды с удивившей пристрастностью расспрашивал меня о моих родителях. Этот допрос мне не понравился и я перестал заходить к Голдину, несмотря на то, что он продолжал меня приглашать. Не понравился мне его отец.

Улица Большая Московская вместе с домами и огородами исчезла в середине тридцатых годов. Вместе с ними эти места покинули их обитатели, а я их продолжаю помнить. Странная эта вещь – память. Вот ведь у меня некоторые имена и фамилии застряли в ней в связи с совсем малозначащими фактами, а о других я просто ничего не могу сказать, хотя и сразу угадаю их, ставших взрослыми людьми, в толпе идущих навстречу, как давних одноклассников. Вслед за Голдиным в последнем ряду стоит, пожалуй, тогда уже не девочка, а настоящая девушка, с завитыми волосами, года на три старше нас, но ничего сказать о ней не могу, кроме одного – она жила в еврейском селе Алексеевском. За ней, зажатый между двумя девушками, торчит ушастый Сорокин. Видимо, тоже из очень бедной семьи был этот мальчик. Ходил в стареньком, не со своего плеча, пальтишке и в стоптанных валенках. А учился хорошо и был очень резок в поведении. Не терпел обиды, но физически был слаб и не только не мог наказать своего обидчика, а чаще получал добавочный подзатыльник. За Сорокиным стоит высокая симпатичная девушка. И ее имени и фамилии я не помню. Зато трех последних пионерок я запомнил. Та, которая стоит слева, – Белопольская, а та, которая справа, – Краснопольская. Между ними стоит веселая девочка с простой фамилией Бондарева. Все они были дружны между собой и вместе на фотографии оказались не случайно. Продолжили ли они свою детскую дружбу в жизни, мне осталось неизвестным.

* * *

Итак, состав нашего класса был типичен для окраинных московских школ и адекватен социальному составу населения. В нем собрались дети рабочих и инженеров из домов завода «Калибра» – первенца социалистической индустрии и дети недавних раскулаченных или просто ушедших из деревень крестьян – строителей будущих орденоносных Московского метрополитена и «Мосжилстроя», живущих теперь в бараках-общежитиях, и дети владельцев красивых Останкинских дач с бельведерами, приобретенных их отцами или дедами еще в далекие дореволюционные годы, и дети не вытесненных еще из советской жизни мелких лавочников-нэпманов, расселившихся в когда-то православном, а теперь уже еврейском селе Алексеевском, и дети из обывательских и ремесленных домиков, с огородами и палисадниками, растянувшихся по обе стороны Ярославского шоссе от Крестовской Заставы до древнего села Ростокино. Все мы были разными по своему происхождению, по воспитанию, по уровню материальной обеспеченности. Но всех нас сдружила наша Образцовая сорок восьмая московская школа. В ней вырастало новое поколение советских граждан.

При поступлении в эту школу нам не устраивали каких-либо экзаменов-собеседований, как это делают сейчас предприимчивые директора расплодившихся элитарных колледжей, лицеев, гимназий и прочих школ с придуманными «специальными» уклонами. Нашим родителям не было тогда забот искать такие особые школы и добиваться приема туда своих чад. А нас, детей, не унижали, не разделяли на элитные и неэлитные категории, не делили на талантливых, бесталанных, способных и неспособных детей. Конечно, мы были разными, но никто не лишал нас права учиться в одной из самых лучших московских школ, и этому никто не мешал, не привносил в наш мир надуманные и разделяющие людей критерии оценки способностей. Наша сорок восьмая была Образцовой всего лишь по образцовым условиям обеспечения учебного процесса и по составу учителей. Кроме того, у нас была прекрасная библиотека: ее книжное собрание насчитывало двенадцать тысяч томов. Оно было специально подобрано в интересах учебного процесса и в общих целях культурного воспитания школьников всех возрастов. Конечно, библиотека была одинаково доступна для всех. И я тоже тогда, впервые в жизни, получил абонемент и с тех пор приобщился к чтению. Специалисты-библиотекари учили нас бережному отношению к книгам и своевременному их возврату. Они всегда находили время побеседовать с читателями о прочитанной книге и порекомендовать Другую. Я прочитал в нашей библиотеке все пушкинские поэмы-сказки и толстовского «Хаджи Мурата», «Кавказского пленника», и про удивительные приключения Рики-Тики-Тави и Маугли. С этого времени я запомнил автора «Песни о Гайавате» Лонгфелло и увлекся фантастикой Жюля Верна, историческими романами Вальтера Скотта и Дюма. У меня и у многих моих друзей даже появилась тогда вредящая учебе страсть к чтению. Мы ухитрялись читать захватывающую книгу на уроке, из-под парты или через щелку откидывающейся крышки. Учителям и родителям даже приходилось принимать срочные и строгие меры, чтобы умерить эту страсть.

В библиотеку мы ходили после уроков, терпеливо стояли в очереди, рассказывая друг другу содержание прочитанной книги, возбуждая взаимный интерес. Так между нами возникало, само собой, интеллектуальное общение, расширялся взаимно круг интересов, рождалось понимание подвига, благородства, долга, преданности, равно как и справедливое осуждение подлости, лицемерия, предательства, обмана, клеветы и других людских качеств, хотя и в простейших оценках «хорошо» или «плохо». Понимание этого пришло ко мне вместе с книгами из нашей школьной библиотеки. Под влиянием прочитанного мы начинали мечтать о своем собственном будущем, искать примеры для подражания.

Было еще в нашей школе многое другое, что увлекало нас в зависимости от наших личных способностей и интересов. Кто-то столярничал или слесарил под руководством доброго дяди – мастера-наставника в очках, кто-то занимался в спортивном зале. А мой друг по двору из параллельного класса, Левка Боков, стал учиться играть на скрипке. Одноклассник Вовка Данилин плясал в кружке самодеятельности.

Краснов научился строить простейшие авиамодели. Наши девочки пели в школьном хоре, которым руководил очень опытный педагог, я даже запомнил его имя и отчество, Георгий Тимофеевич. Он был известен в Москве как выдающийся хормейстер. Лично я в ту пору не чувствовал в себе какого-либо призвания. Мне хотелось что-нибудь уметь, но у меня ничего не получалось. В спортивную секцию я не записался по причине частых всяческих болезней. Левка Боков звал меня учиться играть на скрипке, но после операции на ухе я считал себя непригодным к этому занятию, хотя музыкальный слух у меня сохранился, и в другой школе я все-таки был принят в школьный хор к тому самому Георгию Тимофеевичу и даже принимал участие в концертах.

Нашу сорок восьмую школу посещали многие знаменитые люди. Я видел там живого Максима Горького, Народного комиссара образования Бубнова, Секретаря ЦК ВЛКСМ Косарева. А однажды к нам на пионерский костер приехала Надежда Константиновна Крупская.

Ко всем этим личностям современным поколениям детей внушается иное отношение. Все внимание в их характеристике сосредотачивается на негативной стороне их деятельности. А мы видели этих людей живыми и непосредственно общались с ними на наших пионерских кострах. Эти встречи тогда производили на нас большое впечатление. Они приобщали нас к высоким идеям коллективизма, товарищества, к примерам преданности добрым идеям. Мы тогда поверили их призывам, наставлениям и советам, и это помогло нам честно прожить жизнь.

К нам в гости в школу приезжали многочисленные делегации рабочих из разных капиталистических стран. Скажу откровенно, меня удивлял тогда их благополучный внешний вид. Нас тогда уже приучили думать об английских, немецких, бельгийских и прочих иностранных рабочих, как о жестоко эксплуатируемых, бедных и замученных. А они были хорошо одеты, выглядели сытыми людьми. Меня это удивляло. Ответа этому я долго не находил, пока сам не побывал в разных зарубежных странах.

Интересно было нам учиться в нашей сорок восьмой, и ни за что я не променял бы ее на любую другую, если бы вдруг дяди из Наркомпроса не закрыли ее. Причины этого, конечно, были не наркомпросовские. Здание нашей школы понадобилось военному ведомству, а Наркомпрос не смог, а, может быть, и не сумел этому воспрепятствовать. Школу расформировали не сразу. Половина состава учащихся была осенью 1936 года переведена в школу-новостройку. А осенью 1937 года другая половина – в другую новостройку. И уже в следующем, 1938 году, в нашей бывшей Образцовой разместилось военное артиллерийское училище.

Первый раз в жизни я троекратно пережил чувство неожиданной несправедливости, безвозвратной потери и распада товарищества. Я и мои друзья-одноклассники восприняли свое отлучение от полюбившейся школы как несправедливое наказание, как жестокий намек или даже приговор за несоответствие или неспособность учиться в Образцовой школе. Такое чувство поразило наше ребячье самолюбие. Наверное, это чувство обиды возникло потому, что сначала в другую школу перевели только первую половину, а другую половину оставили, и мы не знали, что на следующий год и ее переведут, а нашу сорок восьмую полностью расформируют. Мы завидовали оставшимся там ребятам и каждый день ходили к своей старой школе, к ее дверям. Но нас не пускали даже в вестибюль, а мы дожидались окончания занятий и от обиды кулачным боем наказывали, тех, кто еще оставался в этой школе, мы считали их «счастливчиками» и «подлизами-отличниками». Но через год, когда вторую половину тоже перевели в новую школу, мы успокоились. Всем нам пришлось начинать новую школьную жизнь. Меня перевели в 279-ю школу, которая в тот год была построена в селе Алексеевском, на Церковной Горке.

С середины тридцатых годов в Москве было развернуто широкое строительство типовых стандартных четырехэтажных школ. В них не было спортивных и актовых залов, при них не было организованных территорий со спортивными площадками и цветниками, в них беднее были оборудованы учебные кабинеты по физике и химии (других, как правило, не было). Строить такие школы, как бывшая наша сорок восьмая, государству нашему в предвоенные годы оказалось не под силу. А нужда в школьных учебных местах росла в разрастающейся Москве, да и в других городах, необыкновенно быстро. Даже в нашей огромной Образцовой школе на 3 тысячи учебных мест в каждом классе было более сорока человек. Широкое строительство стандартных школ должно было решить возникшую насущную проблему московского народного образования.

Начиная с 1935 и до 1940 года на территории нашего Ростокинского района, от Крестовской Заставы до Окружной железной дороги, по обе стороны Ярославского шоссе было построено двенадцать школ-четырехэтажек. Так решение проблемы получения всеобщего среднего образования на данной территории было обеспечено материальной базой. Школы

были построены в густозаселенных городках «Мосжилстроя» и строителей Московского метрополитена, рядом с заводскими и фабричными общежитиями.

Моя новая 279-я школа к началу занятий в сентябре 1936 года оказалась не готовой. Поэтому всех переведенных туда временно разместили в других школах. И пришлось мне пока ходить на Новую Алексеевскую, в школу № 273. Походил туда я недели две, и тут ко мне пришло первое в жизни самостоятельное решение: я решил перейти в школу № 270, которая была построена еще в 1935 году буквально перед окнами моего дома, на Маломосковской улице. Ребята из соседних домов, мои друзья, уже давно в ней учились. А я, пока цела была наша Образцовая, даже и не думал менять ее на эту типовую четырехэтажку. Но теперь все изменилось, и я решил, что нет мне никакого смысла ходить на Церковку, когда рядом уже есть такая же. Тем более, что в ней учились мои друзья из соседних дворов. Так я и Сделал с одобрения Мамы. Теперь я стал учеником 5 «Г» класса обычной школы № 270 Ростокинского района. Но вместе с этим произошло неожиданное изменение в моей ученической и пионерской репутации. С первых же дней занятий здесь на уроках я стал получать высокие оценки и оказался в ряду хорошо успевающих учеников. Наверное, сказалось то, что я пришел из Образцовой школы. Но для себя тогда причину своего чудесного превращения из рядового тройко-четверочника почти в отличника я объяснил случайностью. Я пришел в новую школу, уже пройдя несколько тем раньше, чем к ним подошли мои новые одноклассники. Я оказался уже подготовленным к ответу по этим темам и на первом же уроке по географии я получил оценку «отлично». Потом это произошло на уроках литературы и математики. Три оценки «отлично» создали мне в глазах одноклассников и учителей репутацию прилежного и успевающего ученика. Да я и сам вдруг почувствовал в себе какое-то новое качество. Я наконец поверил в себя и с тех пор очень старался не потерять неожиданно приобретенную репутацию. Круглым отличником в 270-й я не стал. Этому мешали долго непреодолимые огрехи в грамматике. Но во все последующие годы учебы, вплоть до последнего экзамена за девятый класс в июне 1941 года, я прочно сохранил за собой и в оценках учителей, и в глазах товарищей репутацию способного и успевающего ученика. С этой новой школой теперь были связаны мои планы и мечты о будущем. Здесь же, однако, раньше времени суждено было кончиться моему детству. Из детства и из 270-й школы я и мои товарищи в июне сорок первого сразу шагнули в суровое военное лихолетье.

* * *

Новая моя школа была обыкновенной, как и все другие новостройки Москвы, той же внешней архитектуры и с одинаковым внутренним расположением учебных классов и их оснащением. Не была выдающимся или, по крайней мере, известным в Москве педагогом директор, разве что от других коллег ее могли отличать крупные габариты фигуры при высоком росте и не очень женственном лице. Помню, что на ее крупном носу торчало пенсне со свисающей зацепленной за ухо цепочкой. Ребята называли ее «бульдогом». Она действительно была на него похожа и вид имела свирепый. Мы ее побаивались. Вообще в наше детское время школьники побаивались своих директоров. Вызов к директору всегда означал для нас что-то серьезное, был связан с каким-либо неординарным проступком и мог иметь самые печальные последствия в судьбе проштрафившегося ученика. Даже отпетые школьные авторитеты-баламуты старались не попадаться директору на глаза, а тем более избегали встреч в строгом директорском кабинете. Личность директора, его внешний вид, строгий взгляд, особая манера разговора определяли порядок в школе. Помню, что само появление директора в коридорах школы мгновенно гипнотически успокаивало неистовствующую толпу во время перемены.

Фамилии, имени и отчества нашей огромной директрисы с пенсне на просторном носу широкого круглого лица я не помню. Да я ее просто не мог запомнить, так как лично мне познакомиться с ней не пришлось, хотя повод к тому был. В кабинет директора меня не вызывали, но моей соседкой по парте была племянница директрисы, Нюрка Ярыгина. Както однажды она пригласила меня к себе домой. А жила она с теткой-директрисой в школе. Их квартира, в одну комнату с прихожей-кухней, размещалась в правом углу школьного здания, на первом этаже и имела отдельный вход с улицы. Нюрка позвала меня, чтобы дать мне какой-то учебник, которого у меня не было. Мы вошли в прихожую и через открытую дверь я увидел сидящую в комнате на диване нашу грозную директрису. Этой встречи я не ожидал, остановился в смущении, даже не прикрыв двери с улицы. И вдруг я услышал ласковый голос и ласковые слова доброй, пожилой и уставшей женщины, которая из строгой школьной начальницы сделалась очень похожей на мою Маму. Она позвала меня в комнату, спросила, как меня зовут. Я не мог преодолеть смущения, но меня выручила Нюра: она назвала мое имя, сказала, что я в классе новенький и что сижу с ней за одной партой. Директриса вдруг погладила меня по стриженной голове и попросила, чтобы я не обижал Нюру и дружил бы с ней. А на следующий день, в коридоре на нашем этаже я снова увидел суровую и строгую директрису. Она медленно двигалась среди нашей бушующей кучи-малы. Коридор мгновенно стихал. Самые проворные проказники разбегались по классам, а запоздавшие выстраивались по стенкам. Так без окрика и жестов, одним своим директорским видом эта женщина в пенсне наводила порядок.

В недалекие еще прошлые времена, когда в той же двести семидесятой учились мои сыновья, мне, как родителю, приходилось наблюдать иные примеры и картины. В том же коридоре я однажды увидел сцену перебранки тогдашней директрисы с непослушными учениками, пяти– или шестиклассниками. У нее был странный вид: щека была подвязана платком, видимо, болели зубы. На ребятишек она глядела злыми глазами. А те ее совсем не боялись. Нервная, взвинченная женщина с больными зубами была почти в исступлении, а неподдающиеся увещеваниям нарушители порядка корчили ей рожи. Стороны были явно взаимно недружелюбны. Я потом несколько раз наблюдал за общением этой директрисы с детьми. Она была уже без повязки на щеке и зубы у нее не болели, но глаза ее всегда оставались недобрыми. Мне приходилось лично общаться с ней по вопросам увековечения памяти учеников школы, погибших на войне. И в этих случаях она и на меня смотрела недобрыми глазами. Сказать, что эта женщина была недобрым человеком, не могу. Может быть, она придумала для себя маску руководящего ответственного лица. А получилась-то маска злого человека, которому также зло отвечали ученики.

Я не искал для своих сыновей особую школу. Более того, я с волнением ожидал того дня, когда я поведу их в свою двести семидесятую, в запомнившиеся мне на всю жизнь коридоры и классы. Но потом, после традиционной двухчасовой церемонии первого звонка у порога школы, после длинной речи директрисы, после первых посещений родительских собраний, я стал волноваться по другим поводам. Школа моих детей оказалась совсем не похожей на мою обыкновенную школу довоенных лет. Я разочаровался не только в директрисе, но и в учителях. После знакомства с ними я понял, что если сам не займусь со своими детьми русским языком, литературой, историей, если не пожалею денег на репетиторов по математике, физике, иностранному языку, то не видать им будет Московского университета. Впрочем, сыновьям моим в этой школе выпала пора учиться тогда, когда руководящими органами образования перед учителями задача подготовки детей к поступлению в ВУЗы, как главная цель обучения, не ставилась. Свою миссию они видели в выдаче свидетельств об окончании средней школы – аттестатов зрелости. Но не только это заметил я в школе, где учились мои сыновья. Я убедился, что мои учителя в моей обыкновенной, довоенной двести семидесятой были интереснее в своих человеческих качествах и обстоятельнее в своей про-

фессиональной подготовке. Не все, конечно, они были в этом смысле одинаковы. Но считаю, что и мне, и моим одноклассникам с учителями повезло больше, чем моим детям.

* * *

Итак, в конце сентября 1936 года я стал учеником 5 «Г» класса школы № 270 Ростокинского района. Первыми учительницами, оказавшими мне кредит доверия, были преподавательницы географии и русского языка. Вряд ли они тогда, поставив мне оценку «отлично» за ответы с места по основным сторонам света и частям земного шара, а также за знание основных форм русского фольклора, могли знать, что этим произвели переворот в моем внутреннем состоянии, так как еще совсем недавно я считался учеником с успеваемостью ниже среднего уровня. А я то помню, с какой радостью пережил это событие. Две отметки «отлично» в дневнике за один первый день учебы в новой школе! Я радовался, удивлялся, не верил, что так могло случиться. Честно скажу, я и объяснял для себя этот успех случайностью. Мои одноклассники в этот день не выучили урока. Учебный-то год только начинался. На улице еще держалась хорошая погода, и в процесс учебы ребята еще не втянулись. А я оказался готовым к ответу, так как успел запомнить правильные ответы на уроках в школе № 273, в которой больше мне теперь бывать не приходилось. Вот так все просто я себе объяснил. Уверенность же в способности и в возможность учиться на «хорошо» и «отлично» пришла ко мне окончательно после того, как в следующие дни я получил отличные оценки по математике, истории и снова по литературе. Назад уже возвратиться я не мог. Появилось новое чувство уверенности в свои способности. А мои новые учителя поддержали меня в этом новом состоянии доверием, педагогической щедростью на похвалу. С этого времени я стал более усерден и аккуратен в выполнении домашних заданий. Это усердие вновь было замечено и оценено: так в глазах учителей я встал в ряд благополучных учеников. Много лет спустя, когда в школу пошли мои сыновья, я понял, как важно детям оказаться в начале учебы в такой благополучной нише школьных педагогических типов. Если они в начале учебы оказываются вне ее, то в последующие годы все труднее в нее попасть, а то и вовсе невозможно. Распределяя методом профессиональной интуиции своих учеников в ряды способных и неспособных, учителя очень редко преодолевают свой педагогический консерватизм. Троечник зачастую остается до конца учебы в школе в своем ряду, несмотря на предпринимаемые им попытки стать хорошистом. И наоборот, учитель по привычке часто прощает явное нерадение тем, кого он привык считать отличниками. Опасность этого практического консерватизма учителя я пережил на примере своего младшего сына, которому учительница начальной школы определила, при самых добрых его детских качествах, судьбу троечника. Приговор был окончательным. Хорошо, что я услышал его вовремя и сумел восполнить недостаток внимания к моему сыну со стороны самоуверенной молодой учительницы своим участием в его учебных делах. Все-таки он не остался в троечниках. Но это была уже не ее заслуга. Наверное, поэтому мой Алексей не помнит имени и фамилии своей первой учительницы. И наоборот, я на всю жизнь запомнил свою классную руководительницу учительницу русского языка и литературы в пятом классе «Г» моей 270-й школы Полину Дмитриевну. Она не только заметила мои способности, но и вовремя поддержала мои детские амбиции, помогла мне обрести репутацию вполне успевающего ученика. Она вела наш класс три года и не позволила мне своим постоянным вниманием, требовательностью и справедливыми педагогическими поощрениями утратить порыв соревнования с самим собой, заставив преодолеть недоверие к своим возможностям. Не могу сказать, что Полина Дмитриевна удивляла нас каким-либо одухотворением в подаче учебного материала, какими-то особыми знаниями предмета. Внешне она выглядела очень провинциально, одета была просто, на работу приходила с хозяйственной сумкой и была похожа на обычную домашнюю хозяйку. Но зато

эта женщина была очень внимательна к нам, и в классе ее любили не только отличницы и хорошистки, но и даже разудалые троечники и возмутители спокойствия. А в классе были мальчики и того похлеще. Благодаря Полине Дмитриевне и они старались преодолеть уже накопленные пороки. Весь наш класс без потерь завершил под ее руководством свое неполное среднее образование и значительная его часть продолжила учебу на новой ступени. А те, кто ушел в ФЗУ и в техникумы, за исключением двух парней, тоже не потерялись в жизни.

К сожалению, имени и отчества учительницы географии, моей первой кредиторши в оценке моих способностей, я теперь не помню. Всего год она вела у нас свой предмет, потом перешла в другую школу. А жила она все время в наших окрестностях. Я уже после того, как она ушла от нас, часто встречал ее и всегда здоровался. Несмотря на то, что уже в то время она была немолодой, в живых она оставалась и в послевоенные годы. Я встречал ее во дворе «серого дома». Так до сих пор называется этот большой дом на проспекте Мира напротив полиграфического комбината, между Маломосковской улицей и селом Алексеевским. Однажды я даже остановил ее, назвался и с большим запозданием поблагодарил за то, что когда-то, в далеком детстве, она помогла мне в обретении уверенности в своих силах. Хотя имени и отчества этой доброй женщины я не помню, но не забыл ее школьной клички: ребята почему-то прозвали ее «Коровушкой». Я думаю, что кличка эта родилась у нас от ее доброты и спокойствия. Ни на кого она не кричала, никого не обидела чрезмерной строгостью, но двойки нерадеющим ставила.

Учителем математики с пятого по седьмой классы был у нас Владимир Андреевич Кладковой. До сих пор помню строгое и скупое на эмоции лицо этого человека, не щедрого на улыбку. Он никогда не приходил в класс небритым, с уставшим или невыспавшимся видом. Роста он был выше среднего, худощавый, но физически крепок, бодр и строен. Костюм его всегда был отутюжен и ладно сидел на его фигуре. Все в нем было расчерчено правильными линиями, как бы соответствуя точным логическим принципам и категориям науки, которую он преподавал. В класс он входил всегда сразу после звонка. Его безупречный и строгий деловой вид сразу приводил нас в состояние полного подчинения установленному им порядку. Не помню ни одного случая, чтобы этот порядок кто-нибудь, когда-нибудь посмел нарушить. У Владимира Андреевича не было ребячьих кличек, так как не за что было зацепиться нашему озорному воображению ни во внешнем виде, ни в поведении этого человека. Мы все его боялись и уважали. Боялись не наказания. Боялись строгого, чаще всего молчаливого упрека в неспособности понять его точные и доходчивые объяснения урока. Все ученики были для него равны. Он не ставил высоких оценок, по инерции, отличникам, но и не был скуп на них тем из троечников, которые вдруг обнаруживали способности на большее. И бывало так, что вдруг, на глазах у всего класса, менялась репутация ученика, которого мы все привыкли считать отстающим. Владимир Андреевич, видимо, умел уловить момент, когда в ком-то из нас вдруг просыпалась естественная способность понять простое в сложном порядке логических доказательств и от простого прийти к пониманию всей геометрической теоремы или алгебраической формулы. За это прозрение, достигнутое трудом, он щедро ставил «отлично» даже самому привычно неблагополучному по поведению ученику. А с этого у того начинала меняться и его неблагополучная репутация. Так, неожиданно для некоторых других учителей, раскрылись математические способности к предмету Владимира Андреевича у Шурки Тарамыкина и Мишки Золотова, у Витьки Турецкого и Лешки Романова, на поведение и успех в учебе которых в школе падала тень криминогенной среды Маломосковской улицы, Церковной Горки и разухабистых бараков городка «Мосжилстроя». У нашего учителя математики не было любимчиков. По отношению ко всем он был одинаково строг и справедлив. Не обошел он своей справедливостью и меня. Ведь это у него я получил свои первые отличные отметки по геометрии. Учитель и мне открыл кредит доверия, а потом, поощряя мои успехи, строго взыскивал за рецидивы лени. Этим простым мето-

дом Владимир Андреевич пробудил у многих из нас желание хорошо учиться. В нашем классе не было неуспевающих по математике. И мы все успешно сдали экзамен за седьмой класс.

В восьмом-девятом классах к нам пришел другой учитель. Мы очень завидовали нашим соседям из восьмого «А», в котором Владимир Андреевич продолжал преподавать свой предмет и был их классным руководителем. Кроме того, он теперь стал заведующим учебной частью в старших классах. Все ждали и надеялись встретиться с ним снова в десятом классе. В школе уже установилась традиция – Владимир Андреевич вел математику в выпускном классе. Но нашим ожиданиям не суждено было сбыться: в сорок первом он сразу ушел на фронт. И уже в конце лета его жена, наша учительница немецкого языка Соколова Клавдия Александровна, получила похоронку. Погиб наш Владимир Андреевич Кладковой под древним русским городом Медынью.

Такая же судьба вышла и нашему учителю истории Петру Федосеевичу Радченкову. Первые уроки по только что восстановленному в советской школе предмету – истории – мы в двести семидесятой школе получали от него. Наш историк своим появлением в классе произвел на нас необычно веселое впечатление. Он был молод, курчав, курнос и говорил зычным баритоном. В сравнении с Владимиром Андреевичем он был далеко не строг в одежде. Может быть, просто хорошего костюма он еще не мог купить, так как только что начал свою педагогическую службу и зарплата у него была ниже средней. Откуда он пришел в эту профессию, никто не знал. Я предполагаю, что до того, как стать учителем, он был пионервожатым и, может быть, прошел через рабфак. В нем прорывалась натура пионерского и комсомольского лидера. В движениях он был энергичен и быстр, в речи решителен и призывен, в суждениях категоричен. Предмет свой он преподавал не столько знаниями, сколько убеждениями. Его убеждения звучали для нас приказом. Но знание истории в нем заметно прибавлялось. Он тогда продолжал заочно учебу в пединституте. Мы, конечно, все сразу полюбили Петра Федосеевича, признали в нем своего вожака и имя и отчество его произносили скороговоркой «Пер-Федосеич». Наверное, не так уж намного он был старше своих учеников и с молодым азартом своим расставаться не спешил. В летние месяцы, в пору школьных каникул, он любил ходить в походы и подобрал себе интересную компанию. С ним вместе ходили в путешествия учитель физики Сергей Алексеевич Иванов и второй учитель математики Николай Алексеевич Ратников. Этим персонажам будет уделено свое место в моих воспоминаниях. Туристические увлечения были не единственной их особенностью. Слово «туризм» в то время у нас было малоупотребимо. Он не был так широко распространен и организован. Тогда просто или ходили в походы, или путешествовали. Наши путешественники любили бродить в летние месяцы по Кавказским или Крымским горам и черноморским берегам. Специальных маршрутов они не разрабатывали, специальной экипировки и снаряжения не имели. Все они были тогда холостяками. В начале лета брали билет до какого-нибудь города и от него пешком передвигались к другому городу, или за Кавказский хребет, или из-за Кавказского хребта, от героического Перекопа до героического Севастополя, а там по берегу до Феодосии или обратно. Возраст и характер у троих путешественников были разными, но их объединяла общая охота к перемене мест. В конце лета они возвращались в Москву. Однажды кому-то из наших ребят случилось их встретить на Курском вокзале. С поезда они сошли без багажа, в тюбетейках, в потерявших цвет белых брюках и изорванных тапочках.

За два-три года до войны холостяцкие пристрастия друзей сменились совсем другими заботами. Они вдруг почти одновременно женились и перешли на оседло-семейный быт с повседневными обязанностями отцовства. У более молодых – Петра Федосеевича и Николая Алексеевича – родились свои дети, а Сергей Алексеевич стал отцом приемного сына – ученика нашей школы. Но особенно заметно приосанился и по-мужски остепенился Петр

Федосеевич. Он закончил учебу в пединституте, в школе стал завучем начальных классов и выглядел теперь более солидно. Однако для всех он оставался общим Пер-Федосеевичем. А для нас, ставших накануне войны старшеклассниками, он стал старшим товарищем. С нами, как с равными, он теперь здоровался за руку. Он всегда был в курсе наших учебных дел, давал советы, обсуждал, как со взрослыми, школьные проблемы и тревожные события предвоенной жизни страны. В первый понедельник начавшейся войны почти все старшеклассники, только что сдавшие последние экзамены, с утра пришли в школу. Этот день оказался последним днем встречи с Петром Федосеевичем. Мы увидели его стоящим на ступеньках лестницы в директорском вестибюле, и впервые за время нашего школьного знакомства Пер-Федосеич удивил нас своим необычным растерянным видом. Мы ожидали от него уверенных напутствий, а услышали печальные слова прощания. Не скрою, нас это разочаровало. Но где нам было понять состояние отца перед вечной разлукой с только-только начинающим жизнь сыном. На следующий день Петр Федосеевич Радченков ушел на призывной пункт войны, с которой он не вернулся.

В те же первые дни войны на фронт ушел и Николай Алексеевич Ратников, учитель математики, преподававший этот предмет во время нашей учебы в восьмом и девятом классах после Владимира Андреевича Кладкового. Но в моей памяти он оставил несколько иные следы. Я уже отмечал, что смену преподавателя по математике мы переживали с нескрываемой обидой. Мы действительно не скрывали этого чувства. С самого начала знакомства нам очень не понравился внешний вид нового учителя не только потому, что он был некрасив и неопрятен, а больше потому, что очень мало в его облике было мужских качеств. Шел он какой-то вихляющейся походкой, склонив голову набок и не по-мужски виляя задом. Челюсти у него были с неправильным прикусом. Когда он говорил, обнажались крупные желтые зубы, за которыми не умещался язык, и казалось, что рот его был полон горячей каши. А когда он молчал, то челюсти его все время двигались, словно жевали жвачку. Нам трудно было не заметить этих дефектов во внешности особенно тогда, когда он очень немужским голосом объяснял нам урок. Это мешало нам вникать в суть этих объяснений. Однако со временем мы привыкли к новому учителю. И, справедливости ради, скажу, у Николая Алексеевича я научился решать задачи по геометрии, уменью применять к решениям знание теорем, аксиом, функциональных и алгебраических зависимостей и отношений. И несмотря на это, антипатия к учителю так и не была преодолена в нашем классе. Мы устраивали ему всякие каверзы, уходили с уроков. Однажды в ожидании учителя, запаздывающего после звонка, кто-то из нас выглянул за дверь и увидел, что Николай Алексеевич шел медленно по коридору, ведя рукой по стене. Он был пьян. Потом еще несколько раз он приходил в класс под порядочной «мухой». В такие дни он ставил всем пятерки.

А однажды мы узнали, что Николай Алексеевич женился на бывшей нашей классной руководительнице, Полине Дмитриевне. Нам было опять обидно, ибо мы не могли понять, почему она выбрала себе такого мужа. Не дано нам было тогда понимать это, когда у женщины, может быть, и выбора-то не было. А она тогда уже была в возрасте, за невестиными пределами, судьба уже больше ничего не могла ей пообещать. Все равно мы были в обиде за нее на нашего математика. А Полина Дмитриевна была счастлива. И в Николае Алексеевиче мы скоро заметили перемены. Он стал ходить в чистых рубашках, в отглаженном костюме. За год до войны у него тоже родился ребенок. Не помню только, кто это был – мальчик или девочка.

На второй день всеобщей мобилизации Николай Алексеевич ушел на фронт, но ему повезло: в 1945 году он вернулся с войны. Однажды в 1947 году я встретил его около нашей школы вместе с учителем физики и его товарищем по кавказским путешествиям Сергеем Алексеевичем Ивановым.

Среди всех учителей двести семидесятой школы на особое место я ставлю учителя физики Сергея Алексеевича Иванова. Кое-что я уже успел о нем рассказать, но все это было не главное. Неглавной в этом человеке была его специальность учителя физики. Он не делал культа из своего предмета, не увлекал нас в занимательные тайны его законов и экспериментов, хотя и преподавал его профессионально, на достаточно высоком уровне собственных знаний. В молодости он учился в реальном училище и до начала Первой мировой войны едва не успел закончить Московское высшее техническое училище. Полученных знаний ему оказалось достаточно, чтобы после окончания той войны, в которой он участвовал с начала и до конца, стать школьным учителем по физике и математике. Но в школе он стал не только преподавателем этих предметов. Он был первым человеком, который приобщил нас к миру искусства, научил нас не только ходить в театр, но и познакомил с тайнами театрального действия, перевоплощения в образы русских героев, чем способствовал более глубокому пониманию русской литературной классики, да и событий русской истории. Все это мы получали от него параллельно со знанием физических законов в учебном классе физики во время его коротких, ярких и увлекательных отступлений от предмета в свои собственные воспоминания об увиденном в жизни и в театре, о прочитанном и пережитом. Сергей Алексеевич был удивительно привлекательным, интересным, очень общительным со своими учениками, очень культурным и воспитанным человеком. Но в самом начале нашего знакомства учитель удивил нас своим необычным, очень занятным видом. Он был весьма подвижным мужчиной средних лет и чуть ниже среднего роста, круглым и упругим, как футбольный мяч. Фигура его состояла из огромной и круглой, как арбуз или глобус, головы на круглом, как бы накачанном воздухом, туловище. Его круглое туловище с короткими руками, одетое в кургузенький, не сходящийся на животе пиджачок, стремительно двигалось на одетых в коротковатые брючки ногах. Сергей Алексеевич зимой и летом ходил в холодных полуботинках, которые в пятках были стоптаны на разные стороны. Таких же удивительно подвижных и круглых человечков я тогда, в детские годы, увидел на иллюстрациях к «Посмертным запискам Пиквикского клуба» Диккенса и до сих пор сохранил уверенность в том, что Сергей Алексеевич вписался бы в этот замечательный человеческий ансамбль не только своим внешним видом.

Большая и круглая голова Сергея Алексеевича всегда была открыта всем ветрам, солнцу и морозу, Она блестела ровной безволосой поверхностью. Хозяин никогда не надевал на нее шапку, за исключением необыкновенно морозных месяцев зимы 1939–1940 годов, когда морозы были до 40° по Цельсию. Шапку тогда он одевал какую-то лохматую, и голова его становилась от этого еще больше. Лицо тоже было с большим и круглым носом. Симпатию этому лицу придавала очень живая, веселая, остроумная речь с такой же веселой и добродушной улыбкой. Строгости на этом лице почти никогда не было, но она могла вдруг появиться как суровый укор виновнику непростительного проступка. Я однажды испытал это на себе и до сих пор помню, как это было.

Однажды на уроке он задал нам лабораторную работу по формуле теплового баланса. Я выполнял ее в паре с Мишкой Золотовым. Весь класс увлекся экспериментом с таяньем льда в кружках над спиртовками, измерением разности температур и затраченной тепловой энергии. А Сергей Алексеевич, видимо, после сытного обеда подремывал за своим столом. В этот день он не был расположен к общению с нами. А мне вдруг пришла мысль бросить за воротник сидящим впереди нас соседям кусочки льда. Поднялся шум. Кто-то от неожиданности уронил кружку с водой. Сергей Алексеевич был очень рассержен моим поведением. Но я заметил, что лицо его строго посуровело, когда я, испугавшись гнева учителя, вдруг стал жалко оправдываться, сваливая вину на Мишку Золотова. Под его необыкновенно суровым взглядом я почувствовал себя подлецом. И никакое другое наказание не подействовало бы на меня так жестоко. От Мишки же мне попало после урока. После этого я долго не мог

получить прощения у того и другого за свою подлость. Помню это до сих пор. Может быть, испытав раз гадкое чувство предательства, я больше никогда никого не предавал.

Своего предмета Сергей Алексеевич нам не навязывал. В требованиях к знаниям был умерен. Главным для него было добиться понимания законов. Для этого он максимально использовал не очень богатый набор действующих учебных приборов и всего лабораторного оборудования. Используя их, он большую часть учебного времени проводил в лабораторных занятиях с самостоятельным решением задач на заданные условия взаимодействия физических качеств вещества и энергии, демонстрирующих действие того или иного закона. К организации лабораторных занятий и проведению опытов он привлекал наиболее успевающих, а главное, наиболее умелых, рукодельных учеников. Для них дверь в физический кабинет всегда была открыта. Им учитель доверял ключи и позволял самостоятельно экспериментировать в свободное время. В составе его лабораторной команды были представители из всех классов, в которых он вел свой предмет. В ней была группа авторитетных лидеров, как правило, из учеников старших классов. Им не только было больше доверия, они делали много практически полезной работы для школы и поэтому пользовались покровительством директора. В школе, например, не было электрика-монтера. Все работы по электропроводкам, устранению каких-либо повреждений, замене предохранителей, иллюминированному оформлению школы во время праздников – все эти работы выполнялись школьными умельцами. Руководил этой группой особо доверенных при учителе-физике учеников Витька Осипов. Сам он закончил школу в 1940 году и в тот же год был призван в Красную Армию. А его лидерство перешло к нам. Хозяевами в физическом кабинете стали мои одноклассники Борис Нед умов, Левка Боков, Женька Балакирев. С ними в компании был и я, и тоже кое-чему научился для ближайшей будущей жизни. В начале войны, до ухода в армию, я работал вместе со своими двоюродными братьями Борисом и Леонидом электромонтером в Научно-исследовательском дезинфекционном институте. Тогда мне пригодилась небольшая практика и знание законов электричества, приобретенные у Сергея Алексеевича. Про него я однажды вспомнил во время войны в Кавказских горах. Летом 1944 года мне пришлось там походить в составе боевых отрядов в поисках фашистских диверсионных групп, которые немецкое командование регулярно забрасывало сюда в целях дестабилизации нашего тыла. Эти группы искали и находили контакты с местными национальными бандитскими формированиями, снабжали их оружием и инструктировали по тактике подрывной деятельности.

Однажды, выполнив свою боевую задачу, мы целый день догоняли свою основную группу, поднимаясь все выше к скалистым горам Главного Кавказского хребта. Нас было десятеро автоматчиков. К вечеру мы поднялись по тропе под самые снежные вершины и засветло стали устраиваться на ночевку. Нашли маленькую горизонтальную площадку на скате, за камнями. Развели костер, поужинали тушенкой с сухарями, а на утро решили сварить фасоль. У кого-то из нас она оказалась в мешке. Охрану ночью несли все десять человек попеременно, будя смену через каждые 30–40 минут. Кроме внимательного вглядывания и вслушивания в абсолютную ночную темноту Кавказа, часовой должен был следить за костром и варившейся в двух котелках фасолью. Надо было по мере выкипания подливать в котелки воду. Мы знали, что фасоль будет вариться долго. На этот случай мы приберегли воду во фляжках.

Утром мы встали с рассветом. Костер горел, а вода в котелках все кипела. Попробовали мы фасоль, а она все еще оставалась сырой. Все стали удивляться, почему фасоль не сварилась. И тут я вспомнил закон состояния жидкости в зависимости от давления и температуры. Я вспомнил формулу то ли Гей Люсака, то ли Бойля-Мариотта, то ли Шарля и быстро высчитал, что на нашей высоте вода кипела примерно при 80° по Цельсию, и объяснил всем, почему наша фасоль только размокла в теплой воде, но не сварилась. А еще на этой высоте я вспомнил (но уже про себя) Сергея Алексеевича и с превосходством подумал, что

ему, любителю путешествий по горам, приходилось проходить лишь по Военно-Грузинской дороге, а я в то утро на высоте трех тысяч метров над уровнем моря ножом царапал на скале свою фамилию и дату. Время, наверное, стерло эти мои неглубокие следы на камне.

А фасоль тогда мы все-таки съели. Она доварилась в наших животах, и мы это ощущали целый день до следующего вечера, пока не догнали своих. Не знаю, зависел ли этот пищеварительный процесс в наших животах от атмосферного давления.

Мне запомнилось до сих пор еще кое-что, относящееся и не относящееся к физике, на уроках Сергея Алексеевича. Так, разъясняя нам явление теплопроводности, он объяснил, почему туркмены в летний зной песчаных пустынь ходят в огромным бараньих шапках. А однажды он объяснил нам, что наши русские валенки в городских условиях негигиеничны, поскольку они собирают с улиц и в помещениях различный бактериозный материал, грязь и пыль. Сам Сергей Алексеевич никогда в валенках не ходил. Очень много рассказывал он о Первой мировой войне, в которой сам участвовал вольноопределяющимся рядовым солдатом. Еще до рассказа учителя истории мы узнали от него подробности сражения за город-крепость Осовец. Однако главным увлечением Сергея Алексеевича, его болезнью, которой он заразил и нас, был театр и самодеятельное театральное творчество. Он был человеком с живым творческим воображением. В нем, более чем учитель физики, жил режиссер, умеющий заставить людей понять жизнь и характер драматургических персонажей и заговорить их языком, интонациями, жестами и движением. Я это знаю по собственному опыту. Он и во мне пытался зажечь дар Божий. Но сначала он это сделал со старшеклассниками, поставив в школе полный спектакль «Борис Годунов». Тогда я еще учился в шестом классе, и как это им все делалось, я не знал, но зрителем на представлении этого спектакля я был. Он был поставлен на маленькой сцене, построенной в очень небольшом спортзале, но с декорациями и в настоящих театральных костюмах. Представление спектакля готовилось к столетию со дня гибели А. С. Пушкина. Вся школа жила этим спектаклем. Когда шли репетиции, мы подглядывали в полуоткрытую дверь кабинета физики, а если она была закрыта, то через замочную скважину. Тогда вся эта театральная суета оказалась полезной для всей школы. Она вовлекла нас в большое общее дело, даже если и не всем доставалось какое-либо поручение режиссера. Она оказалась полезнее литературных уроков. Мне теперь кажется, что с того времени я впервые научился вслушиваться в звуки пушкинской поэзии. На нашем классном пушкинском утреннике я «с выражением» читал:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
На печальные поляны
Льет печальный свет она…

С тех пор и меня стали привлекать к нашей школьной самодеятельности. А когда мы доросли до занятий в физическом кабинете, на меня обратил внимание и наш школьный режиссер. Вообще мне казалось, что Сергей Алексеевич мне симпатизировал особо. Ему нравились подвижные веселые ребята-проказники, особенно если они были сообразительны и не ленивы в учебе. А я такую репутацию имел. Однажды он разнял нас в коридорной потасовке на перемене, а я тогда настолько распалился в ярости, что учитель с трудом удерживал меня в своих руках. И тут же он дал мне прозвище. Все ребята тогда звали меня Котом. Это было мое домашнее имя, производное от Кости. А Сергей Алексеевич, услышав это имя, сказал тогда: «Ты не Кот. Ты – Рысь!» – и с тех пор так и стал меня называть на уроках, вызывая к доске. Он любил добавлять к нашим именам или фамилиям необидные добавки. Так, Тольку Хмелевского и Володьку Милевского он называл «панами». И вот, когда я уже учился в восьмом классе, Сергей Алексеевич задумал поставить спектакль «Ревизор», и среди при-

глашенных к участию в нем в качестве артистов оказался и я. Вспоминая этот эпизод из моей школьной жизни, я и теперь удивляюсь, как внимателен был к нам наш учитель физики, как хорошо он улавливал черты наших характеров, наши возможности понимать и переживать в себе чужие чувства, чувства и интересы своих друзей, своего класса и уж, конечно, судьбы своих героев из прочитанных книг. Типажи всех действующих в спектакле самодеятельных актеров были определены режиссером без ошибок. Ошибся Сергей Алексеевич только во мне. Очень удачным оказался выбор на роль Городничего – Абрама Гринькота. Он был учеником девятого класса. Состав актеров был подобран смешанный из восьмых и девятых классов. Абрам был старше нас всех и даже старше своих одноклассников. Тогда он уже ходил учиться в аэроклуб. Фигурой он был солиден, физически крепок и говорил уже довольно густым баритоном. И вообще мне кажется, что Абрам успел уже тогда познать в жизни кое-что, до чего мы еще не доросли. Он очень точно вжился в образ Городничего – Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского. Я помню его обхождение со своими сценическими женой и дочерью Анной Андреевной и Марьей Антоновной и с городским обществом. Но особенно на меня произвела впечатление последняя сцена и его монолог. Мне кажется, что с тех пор я и понял трагикомическую суть гоголевского героя. Именно тогда я испытал, вместе с уже воспринятой из учебника характеристикой этого персонажа как типичного представителя чиновничьей, царской бюрократии, чувство жалости к нему как к человеку. Здорово тогда Абрам произнес этот монолог. До сих пор помню его восклицание обиженного, обманутого и осмеянного теми, кто был и глупее и ниже его: «Эх, вы!»

Хорошо сыграла роль Паша из девятого класса. Фамилию ее я, к сожалению, забыл. Она тоже была заметно постарше нас и на сцене она была не новичок. Тогда она вместе с будущей Народной артисткой России Ларисой Авдеевой занималась вокалом в районной музыкальной школе. С ней вместе они на школьных подмостках пели дуэт Вани и Антониды. Она уже умела держаться на сцене в роли сановной супруги личности уездного масштаба и мамаши первой уездной невесты. Марию Антоновну играла Неля Нагурская – самая красивая девушка в нашей школе. Она была тоже из девятого класса и все мы, недоросли, тайно были в нее влюблены. Сама-то Неля нас, конечно, не замечала, но готова была уже воспринимать ухаживания настоящих женихов.

Хорош был и смотритель богоугодных заведений Земляника. Жаль, я не помню фамилии этого парня из параллельного восьмого класса. Уж больно он удивил меня и всех своей игрой: никто бы не мог подумать, что этот губошлепый толстячок сумеет так изобразить прохиндея из девятнадцатого века. Слугу Хлестакова, Осипа, играл Васька Сафонов из девятого класса. По типажу он очень походил на сермяжного деревенского хитреца и фразу «давай сюда и веревочку…» произносил со знанием дела.

Добчинского с Бобчинским играли братья-близнецы. Наверное, это была счастливая находка режиссера изобразить эти персонажи как двойников. Мне Сергей Алексеевич поручил роль Хлестакова. Он объяснил нам всем, что я очень подхожу на эту роль по своей «вихлявости». Может быть, он и не ошибся. Вспоминая про наш спектакль после того, как он был поставлен, и через много лет я считал, что Хлестакова бы я сыграть сумел. Но не тогда! Тогда я просто не мог еще набраться смелости объясниться в любви девочке, которую считал своей мечтой. Я еще не дорос тогда до такой роли и на сцене и в жизни. Долго бился со мной Сергей Алексеевич, угадав мой характер, но как только дело доходило до сцены объяснения в любви с Марией Антоновной и ее мамой Анной Андреевной, возникала полная непроходимость. Я хотел обнять Нелю, но не мог этого сделать. В конце концов мне была найдена удачная замена. Хлестакова в спектакле блестяще сыграл Наум Штивельман из девятого класса. Он был не только вихляв, но и еще знал уже толк в ухаживаниях. Такого Хлестакова, каким его сыграл Наум, я вспомнил, когда увидел его в исполнении Андрея Миронова. Конечно, великий артист сыграл эту роль несоизмеримо выше в профессиональном отношении, но

Наум, на мой взгляд, все-таки был первым в понимании необыкновенной «легкости мыслей» этого героя, доходящей, казалось бы, до бессмысленной, комедиантской эксцентричности его придуривания. Наум, также как Андрей Миронов, просто был непредсказуем в своих движениях. Он очень легко и непринужденно, незаученно и свободно дурачился на сцене. А как он ловко и без смущения, совсем натурально обнимал Нелю, по которой он, между прочим, тоже вздыхал. Он использовал представившейся ему на сцене случай выразить нашей школьной красавице свое неравнодушие. После Наума я понял, как надо было играть эту роль. А много лет спустя, вспоминая школу, наш спектакль и Нелю, я с сожалением думал о том, как я бы тоже мог сыграть эту роль. Но тогда мне все-таки в спектакле достались аж три роли. Две из них были вихлявые, но третья – монументальной. В первом действии я сыграл полового в трактире, во втором – рыжего Мишку в доме Городничего. А в третьем – жандарма, возвестившего о приезде в город чиновника по особым поручениям. После моих громко и решительно сказанных слов наступала немая сцена, а над ней я стоял, как монумент.

Спектаклем мы жили весь тот год. К репетициям приступили еще в первой четверти. Они проходили в кабинете физики. Потом всю нашу труппу Сергей Алексеевич водил в Малый театр. Тогда в спектакле «Ревизор» в роли Хлестакова выступал Игорь Владимирович Ильинский. Мы не просто смотрели этот спектакль, под руководством Сергея Алексеевича мы старались вникнуть в содержание всех мизансцен, в тексты и подтексты реплик и во все авторские ремарки. В работу над подготовкой спектакля включалась большая группа ребят, которым поручались всякие хозяйственные заботы, строительство сцены, изготовление декораций. Были мобилизованы художественные таланты школы. Главным же художником-оформителем спектакля был мой одноклассник Виктор Синельников. А Борька Недумов придумал устройство поднимающегося занавеса из плотных бумажных штор, которые в ту морозную зиму советско-финской войны школа получила для затемнения окон на случай налетов вражеской авиации на Москву. К счастью, такого тогда не произошло и мы использовали шторы по-своему. Получилось хорошо. Борька каким-то образом сумел соединить две шторины, и их хватило на ширину и высоту сцены. С помощью шнуров бумажные шторы поднимались вверх, сворачиваясь в трубку. Все получалось, как в настоящем театре. По мере приближения генеральной репетиции и дня представления волнение, заботы, азарт охватывали нас все больше. Репетиции перешли теперь на сцену. В зале, куда посторонним вход был воспрещен, стучали молотки. Любопытные старались подсмотреть, что у нас происходит, но каждый раз получали щелчки от дежурных, поставленных у дверей. Наконец был объявлен день представления спектакля. Это было 1 января 1940 года, в Новогодний вечер. Был аншлаг – все желающие не смогли уместиться в зале. А мы, артисты, оказались зажатыми в небольшом пространстве между задником, тоже изготовленным из тех же штор, и стенкой зала всего менее полуметра шириной за неглубокими кулисами. Режиссер в тот вечер уже был бессилен руководить спектаклем, но мы были к нему хорошо подготовлены и не нарушили заученного порядка действий в мизансценах. Нам не понадобился даже суфлер, да его и некуда было бы посадить. Мы действовали, как во сне, не слыша, как реагирует на наши движения и слова зал. А когда в конце, после абсолютной тишины «немой сцены» зал взорвался аплодисментами, мы не могли поверить, что они адресовались нам. Кланяться зрителям мы не научились и поэтому просто не знали, куда себя деть. Героями вечера мы почувствовали себя позже, когда несколько раз повторили спектакль, чтобы его посмотрела вся школа. А потом были даже гастроли в соседних школах и показ фрагмента спектакля на конкурсе школьной самодеятельности Ростокинского района. Но тут нас поджидала обида: жюри не пропустило нас на следующий, городской, тур. Слава нам уже вскружила голову, и мы не могли понять, почему так скупо было оценено здесь наше искусство. Но сами-то мы цену себе уже знали и сочли ниже своего достоинства о чем-то просить жюри. Наш спектакль состоялся, и я его помню до сих пор как первое преодоление себя. Я не смог тогда сыг-

рать Хлестакова, но не выпал из ансамбля, из общего движения коллектива и с ним вместе прожил интересную жизнь в образах до этого непонятных мне героев. Тогда я впервые начал понимать театральное действо и, наверное, в будущем мог бы стать артистом. Но жизнь дальше сложилась иначе. Скоро, без надежды встретиться, мы расстались со своим режиссером и очень уважаемым учителем. 19 июня 1941 года я сдал ему экзамен по физике за девятый класс. Добрый Сергей Алексеевич во время экзамена делал вид, что не замечает моих хитростей. Тогда я всем девочкам, сидящим рядом со мной, решил все задачки. С того дня мы расстались на семь лет.

Воевать Сергею Алексеевичу в новую войну не пришлось. Он был уже в далеко непризывном возрасте. А вот его ученикам-артистам лиха хватило много. Наш Хлестаков – Наум Штивельман – погиб сразу после призыва в начале 1942 года под Москвой. Городничий – Абрам Гринькот, накануне войны успевший закончить аэроклуб, стал военным летчиком, воевал отважно и уже в начале войны был отмечен боевыми наградами. Но однажды в перерыве между полетами во время дружеской выпивки поспорил и поссорился со своим боевым товарищем. Завязалась драка со стрельбой. Товарищ был убит, а Абрам осужден военным трибуналом. Наши уцелевшие в войне школьные друзья из села Алексеевского рассказывали, что в лагере его убили уголовники за то, что он посмел заступиться за обиженного. Я-то знал, что Абрам никогда не терпел обидчиков. Помню, как он однажды защитил нас от хулиганистых хозяев в переулке имени Стопани около городского Дворца пионеров. Они пристали к нам без всякой причины, чтобы продемонстрировать свое превосходство на их территории. Их было много, а нас всего трое. В это время из Дворца вышел Абрам, он тоже был тогда с нами. Его одного хватило для того, чтобы вмиг разогнать наших обидчиков. А за него в лагере не заступился никто. Стоила ли его вина на фронте такого сурового наказания, я не знаю, но в добрые качества человека-патриота я верил всегда и настоял, чтобы имя его было написано на мемориальной доске, которую спустя сорок лет после войны мы закрепили на фасадной стене нашей двести семидесятой совсем обыкновенной школы. Только нет теперь этой доски. Не дожила, не довисела она на том месте до пятидесятилетнего юбилея нашей великой Победы. Сняли ее на время ремонта, да и потеряли со всеми славными именами товарищей, отдавших свою жизнь за Родину.

А Паша – сценическая жена Абрама Гринькота-Городничего – умерла в голодном и холодном сорок третьем от туберкулеза.

Больше всех повезло нашей прекрасной Нели Нагурской, исполнительнице роли Марии Антоновны. Она стала генеральшей, женой боевого летчика, счастливо отвоевавшего войну. Я увидел ее спустя много лет после войны на одной из встреч в школе и не сразу узнал. Оказалось, что зовут ее не Неля, а Елена Борисовна. Выглядела она обыкновенной благоустроенной дамой. О других участниках спектакля ничего не знаю. Однако спустя много лет после окончания войны объявился вдруг Васька Сафонов – мой партнер по сцене в первом действии «Ревизора» (Осип, слуга Хлестакова). Все считали, что он тоже не вернулся с войны. А оказалось, что все эти годы он жил в Рязани. Войну он закончил старшим лейтенантом, а дальнейшую жизнь связал почему-то с Рязанью.

В 1947 году, оставаясь еще солдатом, во время краткосрочного отпуска я встретил в наших довоенных окрестностях Сергея Алексеевича вместе с Николаем Алексеевичем Ратниковым. Оба учителя узнали меня. Конечно, я узнал их первым, и эта встреча очень много для меня значила. Она произошла неподалеку от старенькой двухэтажной бревенчатой школы рабочей молодежи № 17. В ней Сергей Алексеевич преподавал физику. В ту осень я выпросил разрешение у командира полка и поступил в эту школу в девятый класс по совету моего учителя. До моей демобилизации тогда было еще более двух лет.

* * *

На войне я вспоминал всех своих учителей. Мечтал о встрече с ними, но увидеть их всех в своей старой двести семидесятой уже не пришлось. Осталось лишь повстречаться с ними в воспоминаниях.

С восьмого класса нашим классным руководителем стала Раиса Ивановна Малявина. К ней мы долго не могли привыкнуть. Наши симпатии по-прежнему оставались с Полиной Дмитриевной. Новая наша воспитательница была из другого времени и образа жизни. Она была более образованна и интеллигентна. А мы, вырастающие в новой идеологической системе воспитания, к сожалению, не всегда были способны оценить эти качества. Раиса Ивановна училась в гимназии. А для нас, после «Кондуита и Швамбрании» Кассиля, после ТЮЗовского спектакля «Белое и Розовое» слово «гимназия» ассоциировалось с отрицательными или карикатурными образами «классных дам», «Тараканиусов», преподавателей Закона Божия, русской словесности и гимназистов, развращенных богатством отцов-эксплуататоров. Вспоминались нам и некоторые чеховские лица гимназистов и гимназисточек. Мы и в Раисе Ивановне поначалу искали нечто похожее на знакомых чеховских литературных персонажей. Даже пытались строить ей заимствованные из литературы гимназические каверзы. Но как-то незаметно возникшее поначалу неприятие прошло. А началось это с того, что мы увидели однажды с какой добротой и нежностью недавние выпускники нашей школы встретили свою классную наставницу, нашу Раисушку, на своем вечере встречи. Скоро и мы почувствовали доброту этой интеллигентной и образованной женщины.

Раиса Ивановна научила нас грамотно писать и говорить по-русски. Моим сыновьям не повезло, их учителя оказались не способными это сделать. А наша учительница упорно добивалась от нас самостоятельного и осмысленного чтения русской классики, ее свободного и самостоятельного изложения в письменной и устной форме. Практическими навыками грамматики и синтаксиса помогала нам овладевать сестра Раисы Ивановны – Вера Ивановна, маленькая, горбатенькая старушка. За небольшую плату она вела у нас дополнительные занятия, на которых мы писали диктанты и разбирали сделанные ошибки. Тексты для диктантов выбирались из сочинений русских писателей. Учила нас Вера Ивановна и бытовому письму. Я очень быстро почувствовал, что эти занятия научили меня правильно писать, не думая о грамматических правилах. Я как бы ощущал текст и глазами, и своей правой рукой. Видимо, умела Вера Ивановна добиваться от нас такого результата. С тех пор я пишу без ошибок. Бывают описки от поспешности, которые я сам обнаруживаю при прочтении написанного. Пусть не обидятся на меня учителя моих детей и внуков. Они не научили и не умели так учить детей родному русскому языку.

Раиса Ивановна и ее сестра Вера Ивановна составляли в нашем восприятии единое целое. В школу они приходили и уходили вместе, одинаково вникали в дела нашего класса, а мы одинаково выполняли все их задания, поручения и просьбы. Общей заботой сестер был и единственный сын Веры Ивановны Олег. Нас удивляло, что именно она, маленькая, горбатенькая женщина, а не Раиса Ивановна была матерью большого, физически крепкого парня. Нас удивляло и то, что Раиса Ивановна не была замужем. Но и у Веры Ивановны тоже не было мужа. А сын у сестер был как бы один на двоих, и они в нем души не чаяли. По поведению Олега тоже нельзя было понять, кто ему был дороже. И судьба, немилостивая по отношению к сестрам, одинаково жестоко обошлась с ними: Олег не вернулся с войны. Как пережили сестры эту трагическую потерю, не знаю. Когда я пришел с войны, Веры Ивановны уже не было в живых. А Раиса Ивановна еще работала в школе в нашем же районе, но уже в двести семьдесят девятой, на Церковной Горке. Я поторопился увидеть мою старую учительницу. В один из дней отпуска я пришел в школу. Был конец первой смены. В учитель-

ской мне сказали, что Раиса Ивановна ведет с учениками дополнительные занятия. Она, как и прежде, учила детей грамотно писать. В коридоре я услышал ее диктующий голос. А когда заглянул в открытую дверь, то своей учительницы не узнал. Да и она меня узнала не сразу, а узнав, расплакалась и от неожиданной встречи со своим учеником, и от незабытого горя своего, о котором сквозь слезы она поведала мне. Она трогала меня за сержантские погоны, гладила по голове и все плакала. А неблагодарная школьная стая озорников из-за двери корчила ей рожи. Увидев меня – солдата с войны – эти вихрастые бестии вмиг присмирели. А узнав от учительницы, кто я есть, еще больше виновато смутились. Мне показалось тогда, что в сиротстве своем Раиса Ивановна осталась беззащитной не только от эгоизма неблагодарных учеников, но и от безразличия и равнодушия своих молодых коллег. Они тоже были удивлены и смущены моим появлением в школе и, наверное, так и не могли понять, что привело меня к этой старой учительнице. К ним их воспитанники еще не возвращались.

В те же дни я встретил свою одноклассницу Тамару Сахарову, тоже вернувшуюся с войны, и рассказал о встрече с Раисой Ивановной. После этого Тамара не оставила ее своими заботами до конца ее жизни. Она вовремя успела своей дочерней лаской и уходом успокоить ее сиротскую и обиженную старость.

* * *

В той же двести семьдесят девятой школе после войны работала наша учительница химии – Елена Захаровна Боржакова. Я встретил ее однажды первым послевоенным летом на улице. Узнав меня, Елена Захаровна обняла меня, как родного сына, говорила мне сквозь слезы какие-то слова, и я их в смущении не понимал, и гладила, гладила рукой мои солдатские награды. Я совсем не ожидал такой признательности, так как все еще помнил свою химичку строгой и скупой на оценки учительницей. Да и наград-то у меня было не очень много. Мне как-то даже неудобно стало не по заслугам принимать такое внимание. Только после встречи со своими одноклассниками я узнал, что на долю этой женщины выпало страшное испытание фашистской оккупацией на Украине, то ли в Полтавской, то ли в Харьковской области, где она оказалась по роковой случайности. Меня удивила эта история. Дело в том, что вместе с Еленой Захаровной мне и нескольким одноклассникам пришлось начинать свою военную историю на трудовом фронте осенью 1941 года. В сентябре – октябре наш класс вместе с ребятами из других школ был направлен в Высокинический район Московской области на уборку картофеля. Елена Захаровна от школы была направлена с нами как классная руководительница. В Москву с трудового фронта мы вернулись накануне тревожного дня 16 октября, и больше до конца войны я свою учительницу не встречал. Для меня было удивительно и непонятно, как она после этого оказалась на оккупированной территории Украины, ведь немцы-то уже были там значительно раньше. Не могла же она попасть туда через фронт. Но как бы там ни было, а Елене Захаровне пришлось у себя на родине до освобождения Харьковщины и Полтавщины Красной Армией в 1943 году испытать жестокую участь немецкого рабства, жестокого человеческого унижения. Может быть, поэтому она так нежно гладила мои солдатские медали. А мне все равно было неловко. Не я же был ее освободителем. Больше мне видеться с Еленой Захаровной не пришлось. Но я до сих пор помню, что на экзамене по химии в июне 1941 года я отвечал на вопрос о схеме промышленной технологии производства серной кислоты. Елена Захаровна тогда поставила мне «отлично».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.